

МИХАИЛ ЩУКИН

СИБИРИАДА

ЧЕРНЫЙ БУРАН



Сибиряда

Михаил Щукин

Черный буран

«ВЕЧЕ»

2016

Щукин М. Н.

Черный буран / М. Н. Щукин — «ВЕЧЕ», 2016 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-9017-4

1920 год. Некогда огромный и богатый Сибирский край закрутила черная пурга Гражданской войны. Разруха и мор, ненависть и отчаяние обрушились на людей, превращая – кого в зверя, кого в жертву. Бывший конокрад Васька-Конь – а ныне Василий Иванович Конев, ветеран Великой войны, командир вольного партизанского отряда, – волею случая встречает братьев своей возлюбленной Тони Шалагиной, которую считал погибшей на фронте. Вскоре Василию становится известно, что Тоня какое-то время назад лечилась в Новониколаевской больнице от сыпного тифа. Вновь обретя надежду вернуть свою любовь, Конев начинает поиски девушки, не взирая на то, что Шалагиной интересуются и другие, весьма решительные люди... «Черный буран» является непосредственным продолжением уже полюбившегося читателям романа «Конокрад».

ISBN 978-5-4444-9017-4

© Щукин М. Н., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Глава первая. Я ехала домой	6
1	6
2	8
3	10
4	13
5	16
6	21
7	25
8	29
9	32
10	34
11	38
Глава вторая. У церкви стояла карета	44
1	44
2	47
3	49
4	54
5	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Михаил Щукин

Черный буран

© Щукин М.Н., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Глава первая. Я ехала домой

*Я ехала домой, душа была полна
Неясным для самой каким-то новым счастьем.
Казалось мне, что все с таким участием,
С такою ласкою глядели на меня.*

*Я ехала домой, двурогая луна
Смотрела в окна спавшего вагона.
Далекий благовест заутреннего звона
Пел в воздухе, как нежная струна.*

(Из старинного романа)

1

И царило во всем поднебесном мире волшебство рождественской ночи, нежно вступающей в свои права.

Трепетно затеплилась первая звезда в морозных сумерках, и темно-синее небо стало живым.

Певчие на хорах собора Александра Невского, сливая свои голоса воедино, торжественно и проникновенно выводили: «Рождество Твое Христе Боже наш...» Колыхались вытянутые язычки пламени над множеством свечей, от радости и умиления наворачивались слезы, а взгляд Богородицы с большой храмовой иконы излучал сострадание и всепрощение.

На улице – ослепительно яркий в сумерках свет газовых фонарей, и в этом свете, взблескивая, проносятся редкие снежинки. Все сверкает, искрится, словно народилось заново. По-ребячески звонко скрипит снег, и шаги прихожан, возвращающихся по домам, их негромкие голоса слышны далеко-далеко – до самых окраинных улиц.

А в доме Шалагиных – смоляной запах хвои, оттаявшей в тепле, праздничный пирог, остывающий под широкими полотенцами, сверканье и блеск стеклянных игрушек и мишуры, венские стулья, вплотную придвинутые к круглому столу, накрытому белой, до хруста накрахмаленной скатертью. В пузатом графинчике с тонким и длинным горлышком – любимая вишневая настойка Сергея Ипполитовича, и он, оглядываясь и таясь, словно проказливый мальчик, украдкой наливает себе первую рюмочку, выпивает, блаженно прижмуривая глаза, а затем растерянно смотрит: куда бы ее поставить? – и натывается конечно же на строгий взгляд вошедшей в зал Любовь Алексеевны, смущенно разводит руками и покаянно клонит голову.

– Хуже ребенка! – выговаривает Любовь Алексеевна и велит горничной Фросе достать из посудного шкафа чистую рюмку.

Из прихожей доносится хриловатый голос шалагинского кучера Филипыча, который пришел поздравить хозяев с праздником. По столь торжественному случаю Филипыч не ворчит, как обычно; добродушен и обещается в ближайшие дни представить Фросе завидного жениха для рассмотрения.

Тонечка смеется вместе с Фросей и целует Филипыча в тщательно расчесанную бороду. На ней сегодня новое платье с белыми оборками на рукавах и тоненьким розовым пояском – светлое, радостное платье. Тонечке оно очень нравится, и ей хочется танцевать.

Любовь Алексеевна приглашает всех за стол.

И вдруг – вспыхивает, обжигая глаза, нестерпимо яркая молния, железный грохот выбивает пол из-под ног, разносит все вдребезги и опрокидывает людей в пустоту. Только кружится в навалившемся мраке, свиваясь в кольцо, розовый поясok от нового платья.

Холод, режущий холод пронизывает до ледяного озноба. Скользит по лицу шершавое шинельное сукно, нестерпимо воняющее махоркой, и чужие, скрипучие голоса с трудом доходят до сознания:

– Каюк, спеклась бабенка... Сыпняк... И к фельдшеру ходить не надо.

– С ней же мужик какой-то был, на офицера смахиват...

– Тю, проснулся! Его днем еще сняли, чуть живого. Или мертвого, хрен его знает.

– Может, мы и ее под сурдинку... Снимем... Сыпняк, он заразный.

– Дурной ты, парень! Сыпняк вши растаскивают. А вшей тут... До конца века всех не сымешь! Пушай лежит бабенка, до Новониколаевска, не протухнет, если что... Холод-то вон какой, собачий!

Старый вагон, разбитый до скрипа, был щедро прошит пулеметными очередями, и в пулевые отверстия воровато сочился сухой, сыпучий снег. Внутри вагона он не таял, копился мелкими сугробиками на грязном, загвазданном полу, на людях, спящих вповалку на вонючей соломе, истертой в прах.

Паровоз ревел от надсады и рвал грудью плотную темноту морозной ночи.

Рождество минуло три дня назад.

А год на холодной заснеженной земле наступил одна тысяча девятьсот двадцатый.

2

На краю черного, непроезжего ельника, там, где он скатывался с крутого увала к извилистой протоке, обрываясь высоким песчаным яром, стояли с недавнего времени пять больших изб, конюшня с коновязью, стога сена, лабаз на четырех толстых столбах, а чуть в отдалении – баня с маленьким окошком и железной трубой над крышей. И не было бы ничего необычного в этой картине, если бы не одно обстоятельство – все строения обнесены были высоким частоколом. Глубоко вкопанные толстые бревна крепко примыкали друг к другу и взмetyвали вверх свои остро затесанные макушки.

Частокол начинался от берега, шел полукругом и замыкался также на краю обрыва. Под обрывом, на пологом месте, лежали перевернутые вверх днищами баркасы, запорошенные снегом. В бор выводили глухие ворота, сбитые из толстых пластин – наполовину распиленных бревен.

Ни дать ни взять, а самый настоящий острог, какие ставили русские люди, первыми прошедшие в Сибирь еще в давнем веке. Но теперь на дворе стоял иной век, и в узкой бойнице, прорезанной в частоколе, торчала не старинная пищаль, а круглый ствол пулемета «максим», заботливо накрытый старой рогожей.

Странное поселенье, странный лагерь...

На подступах к нему, еще в бору, таились секретные посты, которые четко менялись через каждые четыре часа.

После полуночи, когда вызвездило и поднялась луна, опоясавшись от холода оранжевым ободом, с одного из дальних постов подали сигнал тревоги – два гулких, без промежутка, раскатистых выстрела, а затем, после паузы, еще один. Лагерь взметнулся, сбрасывая сон, хрипло загомонил и залязгал затворами. Не прошло и пяти минут, как десяток человек, ошестинившихся винтовками, скользнули на широких охотничьих лыжах в глубь ельника.

Лагерь затаился, ждал новых выстрелов. Но в округе лежала мирная тишина. По заснеженным верхушкам елей струился блестящий лунный свет. И казалось, что выстрелы, обозначившие тревогу, просто почудились.

Но нет, не почудились. В скором времени донеслись голоса, скрип снега, и в зыбких сумерках появились из-за крайних деревьев две неясных фигуры с поднятыми вверх руками. За ними, с винтовками наперевес, неслышно скользили на лыжах люди, недавно выскочившие из лагеря.

– Ребята, кого там черти принесли?! – донеслось из-за деревянного частокола.

– А бес их знает! – последовал громкий ответ. – доставим щас Василью Иванычу – разберется.

Задержанных подвели к крайней избе, с веселым скрипом открыли заледеневшую дверь. В избе, низкой, но широкой и просторной, не было никаких перегородок, одна лишь русская печь высилась посередине, похожая на матерую и добрую корову. Сбоку печи стояла широкая деревянная лавка, выскобленная до живого желтоватого цвета, и на ней сидел красивый бородатый мужик, посверкивая зеленоватыми рысьими глазами. На нем была добротная гимнастерка без погон, офицерские галифе, а на ногах – белые шерстяные носки крупной вязки.

Конвой из двух человек вытолкнул задержанных вперед, как раз под свет керосиновой лампы, висевшей на потолке, и остался возле двери, прислонившись к косякам.

Не шевелясь, молча, бородатый мужик в упор смотрел на приведенных к нему людей и слегка шурился, словно прицеливался. Задержанные были примерно одного возраста, лет под тридцать. Одеты в старые полушубки, явно с чужого плеча, с обветренными и обмороженными лицами, густо обметанными грязной щетиной, они тревожно озирались и – так казалось – плохо понимали, что с ними произошло и где они очутились.

Бородатый мужик сверкнул рысьими глазами, отрывисто стал спрашивать:

– Кто такие? Куда и откуда? Зачем?

Один из задержанных глухо, простуженно кашлянул и, помедлив, ответил:

– Мобилизованные мы, в августе прошлого года. В боях не были – отступали. Заболели тифом. Недавно на ноги встали, теперь домой идем, в Новониколаевск.

– И за каким же лихом вы такими кругами добираетесь? Вам по железке – прямой путь, а вы в глухомань залезли. А?

– По деревням шли, на работу подражались, за продукты. А тут сбились с дороги и заблудились.

– Ну-ну, – мужик резко поднялся с лавки, по-кошачьи бесшумно прошелся по половицам. – Значит, заблудились, да и замерзли до костей... Беда-а-а! Тогда прошу к столу, обогрейтесь, поешьте. Как говорится, чем богаты... Раздевайтесь, грейтесь. Как звать-величать-то?

– Федоровы мы, братья, Иван и Кузьма.

– А я Конев, Василий Иванович. Ну, давайте к печке, оттаивайте.

На лицах конвойных – сплошное недоумение. Переглядываются друг с другом, ничего не понимают. Братья Федоровы между тем, второго приглашения не дожидаясь, прилипли к теплому боку печки – не оторвать. Василий Иванович, не оглядываясь на них, прошел к столу и широким ножом принялся пластать хлеб и сало; напластав, вытянул из-под стола стеклянную четверть с сизым на цвет самогоном, заткнутую чистой холщовой тряпочкой, откупорил, понюхал и сморщился. А затем, так же щедро, как резал хлеб и сало, набухал полнехонькими две кружки – всклень.

– А ну, братья Федоровы, кончай печку обнимать, давай к столу, изнутри обогрейтесь. А вы, ребята, – обернулся к конвойным, – с той стороны пока посторожите.

Конвойные вышли. Василий Иванович подождал, пока братья Федоровы выпили и поели, заново их оглядел по очереди рысьим взглядом, словно продолжал в каждого прицеливаться, и лишь после этого негромко, почти шепотом, сказал:

– А признайтесь-ка честно, ребята, вы не меня искали? А? Иннокентий Сергеич? Ипполит Сергеич? Может, признаетесь? Как-то негоже братьям Шалагиным добрых людей обманывать.

Ответа ему не последовало.

– Ладно, – легко согласился Василий Иванович, – не желаете говорить – спрашивать не буду. Пока не буду. Идите, поспите, подумайте, а там потолкуем. Одно только мне сейчас скажите – Антонина Сергеевна жива?

И замер в ожидании ответа.

3

На грязной стене, прилепанные толстым слоем клейстера, серели листовки Чекатифа¹: «Вошь – убийца человека! Уничтожайте насекомых!» На полу, под листовками, пластами валялись люди. Иные из них, совершенно отупев от голодухи и болезни, лежали не открывая глаз, а если через силу поднимали тяжелые, воспаленные веки, то взгляды у них были совершенно отрешенными, будто они смотрели уже с того света.

Время от времени появлялись санитары в затасканных рваных халатах, начинали громко кричать и ругаться, пытались поднять лежащих, но их никто не слушал и никто им не подчинялся. Тогда санитары, плюнув в сердцах, мыли только свободное пространство вокзального пола, щедро набухивая в ведра с ледяной водой карболку и сулему.

Великое столпотворение, смешение всех и вся творилось в эти дни на вокзале города Омска, бывшего еще совсем недавно столицей Верховного правителя Колчака. И кого тут только не было! Беженцы, дезертиры, мешочники, спекулянты, бывшие офицеры и бывшие солдаты некогда грозной белой армии, красноармейцы, торговки, деревенские жители, темные личности неопределенных занятий... И всем, кто еще стоял на ногах и мог шевелиться, надо было непременно куда-то уехать. Но поезда почти не ходили, а если изредка отправлялись, то попасть в них было так же сложно, как пролезть в игольное ушко. Железнодорожники по этой причине чувствовали себя самыми главными в сером людском муравейнике, смотрели на всех презрительно, не ведая жалости, и ходили важными, как китайские мандарины.

Билетную кассу давно заколотили досками, и на одной из них тоже была приклеена листовка, заголовок которой гласил: «Смерть буржуйам, пособникам тифа!» Ниже листовка была оборвана, и, каким образом буржуи пособничали тифу, оставалось неизвестным.

В самом дальнем углу, за кадкой с высоким и засохшим фикусом, ютились двое военных в шинелях без погон и в мохнатых мужичьих шапках. Они бережно, по очереди щипали тонкий ломоть хлеба, неторопливо разжевывали липкие комочки мякиша и так же неторопливо, полусшепотом переговаривались:

– Балабанов, а вы знали эту даму – Антонину Сергеевну Шалагину?

– Знал. В свое время с ней целая история приключилась. Представляешь, гимназистка, дочка одного из самых богатых людей города, влюбилась в конокрада. Скандал в благородном семействе. Я тогда в полиции начинал служить, в Новониколаевске. Это уж после, в начале войны, ушел в действующую армию. А тогда, в тринадцатом году, они со своим дружкой-конокрадом такую кашу заварили... Лихой был малый – Вася-Конь. Интересно бы взглянуть было – каков стал, если живой...

– Ты лучше про даму его сердца думай. Узнаешь, когда увидишь?

– Надеюсь, что узнаю. Не сто же лет прошло...

– Самое главное – добраться. А как тут доберешься? Неделю без движенья сидим!

– Доберемся, Гусельников, обязательно доберемся. Вон и благодетель наш бежит. Кажется, с хорошими вестями.

Спешил к ним, бойко прихрамывая на левую ногу, низенький худенький старичок, и двигался он так стремительно, что полы его теплого зимнего пальто на ватине разлетались в разные стороны, будто черные крылья. Подбежал, присел за кадкой на корточки и летящей скороговоркой затараторил:

– Пане-господа-товарищи, получил-таки я для вас мандаты, настоящие, с печатью и с подписью самого комиссара Воинова. Вот они, мои разлюбезные, – старичок расстегнул пальто, под которым оказалась суконная жилетка, сплошь покрытая накладными карманами, из кото-

¹ Чекатиф – чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом.

рых торчали, вперемешку, бумаги, деньги, казенные справки, – не жилетка, а канцелярский стол. – Вот они, драгоценные, – продолжал тараторить старичок, вытаскивая из нижнего кармана жилетки и впрямь драгоценные мандаты, которые давали право вырваться из страшного омского вокзала.

Мандаты свидетельствовали, что т. Балабанов и т. Гусельников являются помощниками кооператора Менделя И.Б. и следуют до г. Новониколаевска для закупки в сельских уездах продуктов первой необходимости для нужд омского госпиталя. Что и подтверждалось лиловой печатью и размашистой подписью комиссара Воинова.

– Теперь, пане-господа-товарищи, – не умолкал старичок, – быстро-быстро бегите на второй путь и лезьте в третий вагон от паровоза, с охраной я там договорился. И место на меня займите, где потеплее. А я тут еще дельце проверну и следом за вами. Надеюсь, не обманете старого человека, расплатитесь за мои хлопоты, как договаривались?

– Не суетись – расплатимся, – пообещал Гусельников и стал застегивать шинель.

На улице – липкий, густой снег, метель. Состав, собранный на скорую руку из разнокалиберных вагонов, действительно стоял на втором пути, заштрихованный косо летящими хлопьями. Из трубы паровоза клубками вылетал черный дым и бесследно растворялся в белой кутерье.

Мандаты сделали свое дело: охрана пропустила Балабанова и Гусельникова в вагон, а затем, ухватив винтовки наперевес, начала отгонять неизвестно откуда взявшихся и кучно наседающих мешочников.

Вагон изнутри был обит нестругаными горбыльными досками – для утепления. Но тепло они сохраняли худо, обросли мохнатым ииеем, а железная печка, стоявшая посреди вагона, была не топлена и по краям толстой жести, грубо обрубленной зубилом, тоже покрылась белым ободом.

Темно, сыро, холодно, как в глубоком земляном погребе.

Снаружи, через стенку вагона, доносились крики, мат, нарастающий гул все прибывающей толпы, кто-то безутешно и визгливо плакал. Бухнули, один за другим, выстрелы – шум оборвался. Но скоро начал нарастать вновь.

Дверь вагона с грохотом отъехала, и в широкий проем густо и шустро, как тараканы, полезли люди. Но заскочить удалось только счастливым, имевшим мандаты. Снова бухнули выстрелы; дверь, громокая, закрылась. В нее застучали кулаками, заголосили, но грозные окрики охраны и новые выстрелы сделали свое дело – толпа, осознав безнадегу попасть в вагон, отхлынула и расползлась.

– Сначала поезд в депо зайдет, – докладывал своим спутникам, не сбиваясь с летящей скороговорки, все знающий Мендель, – надо будет там дровец прихватить, иначе нам прохладно станет.

Он плотнее запахнул на себе пальто на ватине и застегнул его на все пуговицы. Руки засунул в рукава, сгорбился, нахохлившись, и стал похож на взъерошенного воробья.

Паровоз взревел, и поезд дернулся. Заскрипели расхлябанные вагоны. Возле депо, как и обещал Мендель, поезд остановился, и пассажиры вагона, выскочив на улицу, успели ухватить из разваленной поленицы по охапке дров. Иные, самые проворные, хотели сделать еще по одной ходке к поленице, но их остановил хриплый голос подоспевшего сторожа:

– Не трожь дрова, сволочи! А то пальну!

И, подтверждая серьезность своего окрика, действительно пальнул в воздух. Раскатистый звук выстрела заставил всех заскочить в вагон – люди ехали бывалые, пуганые, тяжелым временем приученные к тому, что нынче жизнь человеческая – не копейка даже, а так – за бесплатно голову снесут.

Скоро поезд тронулся, тяжело запыхтел, заскрипел и начал выползать в степь, накрытую ветром и мокрым снегом. Дрова, украденные из поленицы у депо, оказались на удивление

сухими, быстро разгорелись, и железная печка стала перекрашиваться из черно-ржавого цвета в малиновый. Пассажиры, толкая друг друга, потянули к ней нахолодавшие руки.

Балабанов и Гусельников, прижимаясь друг к другу спинами, переговаривались едва слышным шепотом, настороженно поглядывая по сторонам, опасаясь, что их кто-нибудь услышит.

– Нам сейчас, Гусельников, самое главное – в Новониколаевск добраться целыми, а там уже легче будет. По крайней мере там я не на чужой земле; дома, как известно, стены помогают.

– Если они целые. А наши стены, Балабанов, разрушены до основания, как поют большевики. Лучше не надеяться. Давай подрежем по очереди, устал я, глаза слипаются.

От жара железной печки и людского дыхания иней на горбыльных досках растаял, и тяжелые капли затюкали на пол. Когда поезд останавливался, было слышно, что капли издают звуки, похожие на стук метронома. Словно быстробегущее время отсчитывали.

4

В церкви Даниила Пророка, которая стояла рядом с новониколаевским вокзалом и в которой новые власти запретили проводить службы, остался только один звонарь, и он, не меняя давным-давно заведенного распорядка, исполнял свои обязанности истово и аккуратно. В нужное время медленно и раздумчиво ударил колокол – к заутрене. В неподвижном заходящем воздухе заскользили медные звуки, и на железнодорожных путях, словно отзываясь им, надсадно взревел паровоз, попыхтел натужно и смолк. Лязгнули вагоны.

– Ну вот, своих девать некуда, так еще и новых привезли. Щас потащат – все покойнички, хоть и теплые! Эй ты, прислужник капитала! Разворачивай свою худобу, подавай ближе! – маленький худенький мужичонка откашлялся, смачно сплюнул себе под ноги, размашисто шаркнул валенком по утопанному снегу и, разобрав старые веревочные вожжи, стал пятить свою лошадку назад, стараясь приткнуть деревянные сани как можно ближе к выходу из вокзала. – Давай, давай скорее, кого ты там телишься! Мельнику-то поживей, поди, прислуживал?!

– Я не прислуживал, – тихонько, себе под нос, чтобы не услышал зловерный мужичонка, бормотал постаревший Филипыч, – я хозяину, как приличному человеку, служил честно и уважал его, Сергея Ипполитыча – покойника, Царство ему Небесное. Не тебе чета человек был. Тоже мне, вошь из загашника!

С годами Филипыч стал ворчать еще больше, но бубнил теперь себе под нос, чтобы никто не услышал, потому как времена наступили суровые и за лишнее слово можно было не только схлопотать по шее, но и лишиться жизни. Хотя такая жизнь на старости лет совсем не радовала: холодно, голодно, а тут еще явились с неделю назад какие-то люди с наганами и приказали: обеспечишь, дед, по нашей разнарядке лошадь свою и сани для перевозки тифозных больных, которых с поездов снимать станут, до заразной больницы. Деваться некуда – пришлось обеспечивать. И вот уже в пятый раз под командой зловерного мужичонки курсирует Филипыч от вокзала до бывшей женской гимназии, в которой размещается теперь больница и где не столько лечат, сколько приглядывают, чтобы помирали бедолаги в одном месте, тогда их по весне, когда земля оттаяет, хоронить будет легче.

– Ох, грехи наши тяжкие! – вздохнул Филипыч и тоже попятил свою лошадь ближе к выходу.

– А почему только две подводы прислали? – крупным, размашистым шагом к ним приближалась высокая женщина с измученным серым лицом и лихорадочно блестящими глазами. Одета она была в затасканную длиннополую шинель, которая болталась на ней, как на палке. Голос был сиплый, с надрывом и потому, наверное, особенно злой. – Я вас спрашиваю: почему только две подводы?!

Филипыч благоразумно помалкивал, зато начальствующий над ним мужичонка загремел в ответ таким забористым матом, что женщина даже свой размашистый шаг замедлила, будто споткнулась. Но тут же и выправилась, пошла быстрее и на ходу, сунув руку в глубокий карман шинели, выдернула револьвер. От выстрела лошади вскинули головы, испуганно дернулись, и розвальни саней глухо стукнулись. Филипыч сел на снег и вжал голову. А мужичонка, словно его хватил мгновенный столбняк, замер на месте с открытым ртом, подавившись так и не произнесенным черным словом.

– Если завтра будут только две подводы – заказывай отходную. Понял, сморчок?! Понял, спрашиваю, или нет?!

Мужичонка торопливо и мелко-мелко закивал головой, но женщина на него уже не смотрела; круто развернувшись, она спешила навстречу санитарам, которые тащили по перрону первые носилки с тифозными. Она бегло осматривала больных, щупая у них пульс и приподнимая веки, и сразу же, быстро и сноровисто сортировала: совсем тяжелых – на сани, осталь-

ных – в санитарный приемник при станции. Когда санитары замешкивались, женщина воро- вато оглядывалась, расстегивала крючок шинели и доставала из-за пазухи невидный в зажатой ладони пузырек. Торопливо, со всхлипом втягивала узкими ноздрями кокаин, и глаза ее с рас- ширившимися зрачками блестели после этого еще лихорадочней.

На сани к Филипычу вповалку, как дрова, один на другого, утолкали шесть человек. Он понужнул свою лошадку, и она тихонько потянулася через вокзальную площадь, скользя по плохо утоптанному снегу неподкованными копытами – нечем, да и негде было старому кучеру при такой аховой жизни подковать свою кормилицу, у которой от голодухи все круче выпи- рали ребра, а по шее пошли лишаи. И вспомнился невольно подбористый жеребчик Бойкий, его легкий, быстролетящий ход и плетеная ладная, как игрушечка, кошевка... Как он, бывало, лихо подкатывал на ней к женской гимназии, доставляя туда взбалмошную егозу Тонечку или хозяев... Все улетело, все унесено холодным ветром... Ничего и никого не осталось... И ноги, ноющие теперь от ревматизма не только по ночам, но и днями, оскальзываются и разъезжа- ются, будто неподкованные, на мягком и слабо притоптанном снегу... Тащился Филипыч сбоку саней, сморкался на сторону застуженным носом и тоскливо думал о том, что в запасе у него осталось только чуть-чуть муки да полмешка картошки – как дальше жить-кормиться?

Выскочила неизвестно откуда плюгавая собачонка. Зад у нее и хвост были усеяны мерз- лыми хохоряшками – будто гроздь невиданной ягоды висели. Собачонка постояла, дожидаясь подвода, и вдруг кинулась, стараясь ухватить Филипыча за ноги, с таким яростным и захле- бывающимся лаем, что пронзило уши. Филипыч замахивался на нее вожжами, кричал, даже кидал рассыпающийся снег – собачонка ловко отскакивала и насадала с еще большим остер- венением.

– Да отстань ты, зараза, а то зашибу! – бормотал Филипыч, поражаясь ее злости. – Вот найду полено и зашибу!

Но полена и даже паршивой палки на дороге не было, и собака осаждала Филипыча до самой бывшей гимназии. А после, так же внезапно, как появилась, исчезла. «Животина и та звереет – думал Филипыч, – чего уж тут про людей говорить, когда все поголовно умом тро- нулись... Ох, грехи наши тяжкие, не видать нам прощенья на Страшном суде...»

Принимать тифозных больных, снятых с поезда, никто не торопился – два санитары были заняты другим делом: вытаскивали из больницы трупы, складывали их штабелем прямо на снег во дворе и засыпали хлоркой. Работу свою делали они медленно и лениво, ползали, будто осенние мухи, – не иначе как от безмерной усталости. Да и то сказать: потрудись-ка тут сут- ками, послушай горячечный бред больных, погляди во все глаза на смерть, ставшую такой же обыденностью, как вши и грязное белье, и привыкнешь к ней, принимаешься, как к запаху человеческих нечистот, а приглядевшись и приняхавшись – отупеешь до потери всяческих чувств.

Филипыч уже подмерзать начал, когда подъехал начальствующий над ним мужичонка со следующей партией тифозных. Этот не стал безропотно дожидаться, а сразу бросил вожжи, заматерился и побежал напрямик в больницу – искать управу.

– Беги, беги, – бормотал ему вслед Филипыч, – может, сызнава на наган наскочишь, если одного разу не хватило...

Но мужичонка быстро вернулся, горделиво вскидывая голову и по-прежнему матерясь, а следом за ним молча шел доктор Обижаев и на ходу пытался застегнуть старенькое пальто, накинутое поверх больничного халата, который когда-то был белым, а теперь стал белесым от хлорки и ржавых пятен плохо отстиранной крови. Не обращая никакого внимания на мужи- чонку, Обижаев приказал санитарам заносить привезенных больных, дождался, когда опустели сани, и подошел к Филипычу:

– Здравствуй, дед, ты меня помнишь?

– Помилуйте, Анатолий Николаич, как же не помнить! Чай, не единожды доставлял к Сергею Ипполитычу или к домашним его. Как же не помнить!

– Вот и хорошо, что Сергея Ипполитовича не забыл. Помощь мне твоя нужна, дед. Антонину Сергеевну надо спасать, здесь она не вытянет.

– Где – здесь? – опешил Филипыч.

– Да здесь, в этой, так называемой больнице. Антонину Сергеевну недавно привезли, сняли с поезда, больную тифом. А у нас положение отвратительное – скоро мор начнется. Сможешь ее у себя приютить?

– Дак я... – растерялся Филипыч, – со всей душой. А толку-то? Ее лечить-кормить надо, а я что...

– Лечить я буду, а кормить вместе. Придумаем. Вечером, как стемнеет, подъезжай сюда. Не подведешь, дед?

– Как штык явлюсь! – заверил Филипыч.

5

Шалагинский дом, давно покинутый своими хозяевами, стоял на земле по-прежнему, как и был задуман при строительстве: крепко, основательно и надолго. Каменные столбы держали на себе тесовые ворота и калитку, на стеклах узких высоких окон играл розовыми отсветами морозный закат, на стенах не видно было никакого изъяна, и только причудливая ажурная резьба деревянных кружев изрядно поблекла от дождей и ветров. А так – все, как прежде. Даже витая веревочка с медным наконечником сохранилась, и, дернув за нее, можно было услышать за входными дверями веселый звук колокольчика.

Распоряжались теперь в доме другие люди. Разломав каретный сарай, они жарко топили печи, пили чай из уцелевшего самовара, курили едучую махорку, чистили винтовки, рассказывали друг другу немудреные байки, пересмеивались, и видно было, что это им доставляет истинное удовольствие – находиться в тепле и сытости.

Но вот высокие двустворчатые двери, ведущие в бывший кабинет Сергея Ипполитовича, широко распахнулись, и оттуда вышли двое; при их появлении все остальные сразу насторожились и посуровели. Один из двоих, одетый в кожаную куртку, туго перепоясанную солдатским ремнем, с необыкновенно красивым, словно девичьим лицом, звонким голосом подал команду:

– Тиха! Слушай сюда! Ни одного слова мимо ушей не пропускать! Это – товарищ Бородавский, особый представитель Сибревкома. С нынешней минуты мы поступаем в полное его распоряжение. Полное и безоговорочное! За неисполнение любого приказа товарища Бородавского – расстрел на месте. Ясно выражаюсь?

Ответом ему было молчание. Красавец улыбнулся сочными алыми губами и самодовольно сказал:

– Мои ребята лишних вопросов не задают. Одно слово – разведка. Ставьте задачу, товарищ Бородавский.

И отступил несколько шагов назад и в сторону, так, чтобы все видели чуть сторбленного, совершенно седого мужчину с обвислыми усами, тоже седыми, но с рыжими пятнами от курева. Через круглые очки в железной оправе на разведчиков смотрели холодные, бесцветные глаза. Простая, застиранная косоворотка на Бородавском была застегнута до последней пуговицы, как и темный пиджак с аккуратно заглаженными карманами. И голос у него тоже был сдержанный, строгий:

– Задача следующая: раздобыть ломы, заступы, лопаты. Если здесь в доме не найдете, пройти по соседним и реквизировать. Плюс дрова, чтобы развести костер и оттаять землю, примерно четыре на четыре аршина. Плюс две подводы. Личное оружие с полным боезапасом должно быть с собой. Выполняйте, Клинт.

– Есть! – красавец, командир разведчиков, лихо подхватил со стола маузер в деревянной кобуре, лохматую овечью папаху и первым легко скользнул к выходу. Остальные разведчики, на ходу одеваясь и подпоясываясь, последовали за ним.

Бородавский, осторожно поправляя очки в железной оправе, внимательно смотрел им в спины.

Во дворе, когда Клинт начал отдавать распоряжения – кому куда идти и где что искать, один из разведчиков не удержался и тихо спросил:

– Командир, а к чему такая лихоманка? Сняли с фронта, загнали в тыл... Зачем? Землю рыть?

– Астафуров! Еще раз спросишь, я тебе ухо прострелю. Не промахнусь – ты меня знаешь! И еще раз, для всех, – никаких вопросов не задавать! Ломайте двери в подвал, ищите инструмент. Астафуров! Иди, запрягай! И живее, ребята, живее, бегом, как на гулянку!

Строжился Кли́н и покрикивал на своих разведчиков не потому, что так уж любил показную дисциплину, а потому, что сам он абсолютно ничего не знал и не понимал. Вызвали его среди ночи в штаб, к самому командарму, и там без лишних разговоров, ничего не объясняя, приказали отобрать к утру двадцать самых надежных бойцов, получить продукты, патроны и выехать в Красноярск. Из Красноярска – в Новониколаевск. И поступить в полное и безоговорочное распоряжение особого представителя Сибревкома товарища Бородовского. Выслушав все это, Кли́н хотел было поначалу открыть рот и задать вопросы, которые у него, привыкшего думать мгновенно, сразу же и появились: каким образом добираться, когда поезда не ходят, и где искать в Новониколаевске этого Бородовского, и что надо будет делать, если... – но рта ему открыть не позволили. Приказали – выполняй. А что и как – не твоего ума забота. К утру Кли́н отобрал двадцать своих самых надежных бойцов, к утру же им выдали патроны и продукты – без всякой волокиты! И сразу же отправили в Красноярск на четырех тройках свежих лошадей – вот чудеса! Но дальше предстояло еще больше удивиться. На Красноярском вокзале встретили, всех посадили в один вагон и вагон этот сразу же прицепили к поезду, который через два часа тронулся на запад. Ехали, конечно, через пень-колоду, с частыми остановками и долгими стоянками, но главное – ехали. В Новониколаевске их тоже встретили, определили в этот богатый дом и велели ждать.

Прошли сутки.

И вот сегодня, уже под вечер, появился Бородовский, показал Клину свои документы и отдельно – распоряжение Сибревкома, в котором кратко было сказано, что группа разведчиков Пятой армии поступает в распоряжение особого представителя Бородовского и выполняет все его приказания. Подпись. Печать.

– Запомни одно, Кли́н, – сухо покашливая, говорил ему Бородовский, – полное подчинение и никаких расспросов. Нужные сведения, когда потребуется, я сообщу. Очень желаю, чтобы эти требования дошли до каждого вашего бойца без исключения...

«Пожалуй, и верно сказал Астафуров – лихоманка еще та будет!» – Кли́н от озноба передернул плечами и потуже натянул папаху на уши – мороз к вечеру заметно окреп.

В скором времени ворота шалагинского дома настезь распахнулись, из них выкатились две подводы. На одной из них лежали ломы, заступы, лопаты, на другой – разнокалиберные поленья и доски, выломанные из остатков каретного сарая. Следом за подводами, в колонну по два, бойко шагали разведчики, покачивая над своими головами взблескивающие штыки винтовок.

Двигались окольными улицами, безлюдными в вечерний сумеречный час, минуя нахороненные, накрытые снегом дома с темными окнами. Иные окна были наглухо затянуты толстыми занавесками льда, и это означало лишь одно: в доме теперь никто не живет, а хозяева либо сбежали неведомо куда, либо померли от тифа, и вполне может статься, что лежат на лавках и на полу окоченевшие трупы и убрать их совершенно некому.

Дружно, в такт, хрупал промерзлый снег под ногами разведчиков.

Синие сумерки стали уже наливаться чернотой, когда впереди замаячила ограда городского кладбища, которое располагалось в березовой роще. Голые деревья с шапками темных грачиных гнезд безмолвно гнулись над крестами и памятниками, наглухо занесенными снегом. Дорожки между могилами никто не чистил, на них лежали нетронутые сугробы, и лишь у самого входа, где виднелись свежие холмики, не отмеченные даже простенькими крестами, снег был истоптан – новых покойников хоронили там, куда можно было добраться без особых усилий. Или не хоронили вовсе. Вдоль забора, зиявшего широкими прорехами, – доски оторвали и унесли на дрова, – были свалены трупы. Иные из них, привезенные недавно, еще чернели, растопыривая крепко схваченные морозом руки и ноги, другие были уже замечены метелями, и сколько их здесь валялось – никто не считал и не ведал.

Заслышав скрип саней и людские шаги, от забора лениво отбежала, недовольно оглядываясь, стоя бродячих собак. Но далеко уходить не стала, кучно развалилась под двумя старыми березами и, облизываясь, урча животами, принялась наблюдать за людьми – по какой такой надобности приползли они сюда в столь поздний час, нарушив сладкий собачий ужин?

Бородовский, подсвечивая себе карманным фонариком, развернул на колене листок бумаги, долго вглядывался в нехитрую схему, нарисованную химическим карандашом, затем поднялся и бодро двинулся на ближнюю дорожку, глубоко проваливаясь в сугробе. Скоро донесся его спокойный, негромкий голос:

– Кли́н! Давай ко мне!

Придерживая на боку кобуру с маузером, Кли́н в несколько прыжков одолел сугроб и оказался за спиной у Бородовского, который стоял перед высоким деревянным крестом, еще не почерневшим от непогоды, и водил лучиком фонарика по медной табличке. На ней витиеватыми буквами было выгравировано:

«Полковник Алексей Семенович Семирадов.

1884–1919

Ты честно и до конца исполнил свой долг.

Господи, прими с любовью его чистую душу».

Кли́н ждал приказаний, но Бородовский долго молчал, не опуская лучик фонарика с медной таблички, словно еще и еще раз перечитывал, что на ней было выгравировано. Но вот глухо кашлянул, опустил фонарик и тихо произнес:

– Ну что, Алексей Семенович, свидетелись?

– Не понял, что вы сказали?

– Это я так, Кли́н. Размышления вслух... Теперь надо выставить охранение, чтобы сдуру кто-нибудь не набрел, снег раскидать и развести костер, чтобы земля оттаяла. Моги́лу раскопать, гроб поднять. Задача понятна?

Кли́н, изумленный до невозможности, молча кивнул и медленно попятился задом от моги́лы, снова повторяя слово, услышанное от Астафурова: «Лихоманка... Вот уж точно – лихоманка! Здесь что, моги́лу раскопать некому было?!»

Но вслух этого вопроса Кли́н не задал, промолчал, побежал к своим разведчикам и быстро отдал приказания. Не прошло и нескольких минут, как над моги́лой, на зазеленелой земле, был разведен большой костер и высокое пламя, раскачиваясь из стороны в сторону, успевало облизывать деревянный крест и медную табличку. Разведчики, сгрудившись вокруг костра, тянули руки, грелись, но делали это молча, не произнося ни единого слова. Все они за время войны навиделись смертей, самых разных, в таком изобильном количестве, что чем-либо удивить или напугать их, казалось, попросту невозможно, а вот поди ж ты... Раскапывать ночью чужую моги́лу, пусть она даже и полковничья, беляцкая, оказалось не очень-то приятно; тревожный холодок заползал в душу, будто ожили все детские страхи, когда пугают неразумные ребятишки друг друга на ночь страшными историями о кладбищах и мертвецах. И до того ведь пугают, что иной малец вскинется ночью от жуткого видения, забазляет, переполошив всех домашних, и обдуется прямо под себя от страха...

Нет, что ни толкуй, а дело им нынче поручили не совсем подходящее...

Стояли, грелись, молчали.

Пламя продолжало колебаться и выхватывало вразнобой из темноты то серьезные, сосредоточенные лица, то крест, то медную табличку, то ствол старой березы, уронившей свои длинные ветки до самой земли.

Бородовский, отойдя к подводам, сидел на краешке саней, опустив голову, и неторопко курил самокрутку, спрятав ее огонек в ладони. Кли́н стоял рядом, ожидая приказаний, все глубже натягивал на уши овечью папаху и едва-едва одолевал нестерпимое желание: ему до

дрожи в руках хотелось сейчас выдернуть из деревянной кобуры маузер и выпалить всю обойму в небо, чтобы разорвать эту нехорошую, настороженную тишину, которая царила на кладбище, нарушаемая только чуть слышным треском костра.

Так прошло часа полтора. Доски и поленья прогорели, пламя стало опадать все ниже, – пора. Принесли ломы, заступы, принялись долбить плохо оттаявшую землю. Она отзывалась на удары глухими звуками, словно вздыхала. Разведчики сменяли друг друга в тяжелой работе, передавая ломы, откидывали мерзлые куски земли и по-прежнему молчали, словно дали обет не говорить ни слова, пока не закончат с этим странным и непонятным делом.

Земля в нынешнюю зиму промерзла глубоко, долбили и расковыривали ее до седьмого пота. Но вот ледяная корка кончилась и дальше пошел сыпучий песок, легко поддававшийся обычной лопате; яма становилась все глубже, и скоро два оставшихся копальщика ушли в землю по грудь. Их тоже сменяли по очереди, вытаскивая за руки наверх, давая передохнуть. Истоптанный снег вокруг могилы покрывался песком – будто на белое положили заплату серого цвета. На низком небе из-за жиденькой тучки медленно выползла круглая и яркая луна, сронила на землю холодный свет. Густые сумерки, скопившиеся между деревьев, памятников и крестов, проредились, и длинные, уродливо изогнутые тени вытянулись по сугробам. Лица разведчиков под лунным светом казались неестественно-бледными, и они старались не смотреть друг на друга.

Лопата глухо стукнула о крышку гроба, и наверх донесся сдавленный, сорванный запаленным дыханием голос:

– Есть, здесь...

И как только прозвучал этот голос, Бородовский вскочил с саней, подбежал к могиле и, растолкав разведчиков, придвинулся к самому краю, словно собирался прыгнуть вниз. Клину неотступной тенью маячил у него за спиной.

– Откопайте получше и поднимайте, – Бородовский сглотнул слюну, поперхнулся и закашлялся. Прокашлявшись, строго спросил: – Веревки взяли?

Про веревки, оказывается, команды никто не давал, и в санях привезли только инструмент.

– Снимай вожжи с лошадей, тащи сюда, – первым сообразил Клину и прикрикнул: – Шевелись, как живые! Чего притухли? Покойников не видели?! А ну, вспомни каждый, сколько на тот свет отправили?! Тоже мне, барышни кисейные отыскались!

Притащили вожжи, подали тем, кто был внизу. И в этот самый момент из-за ограды с прорехами, от двух старых берез, под которыми прилегла стая бродячих собак, донесся тонкий, тоскливый вой молодой сучки. Он словно всверливался в кладбищенскую тишину, звучал, не прерываясь, на одной ноте и достигал, кажется, до самой луны. Не успел он истончиться и оборваться, хотя бы только для того, чтобы перевести дыхание, как подсоединился к нему еще один вой, хриплый, густой, принадлежавший, похоже, матерому кобелю. А следом – завывла, не залаяла и не затыкала, а именно завывла – вся стая.

Люди замерли.

И только один Клину, будто дождавшись долгожданной минуты, стремительно кинулся к забору, выдернул из кобуры маузер, и первый выстрел сразу же обрезал собачий вой. Но Клину этого показалось мало, и он палил, почти не целясь, по убегающим темным теням, пока в обойме не кончились патроны. Собаки мгновенно исчезли, оставив под березами старого облезлого кобеля, который, подыхая, все дергал и дергал задними лапами, будто бежал. Клину вставил новую обойму, прошелся вдоль забора, еще ближе к березам, и одиночным выстрелом расхлестнул кобеля череп. После этого понюхал ствол маузера, резко воняющий сторевающим порохом, и вернулся к могиле совершенно спокойным.

– А без пальбы нельзя было? – строго выговорил ему Бородовский.

– Виноват. Да только с пальбой оно нам привычнее, веселее. Правда, хлопцы?

Разведчики в ответ загомонили; общее напряжение, сковывавшее их до этого момента, исчезло, и они разом быстрее задвигались, ловко подсунули вожжи под гроб и с дружным возгласом, будто заправские грузчики: «раз-два, взяли!» – подняли его наверх. Бородовский вытащил из кармана полушубка фонарик, тонким лучиком света ощупал гроб – крепкий, добротный, с вырезанными на крышке вензелями и большим православным крестом. Гниль еще не коснулась дерева, лишь по бокам кое-где отщипнулся толстый слой лака.

– Открывай, – приказал Бородовский. Рука у него вздрагивала, и лучик света от фонарика, который он не выключал, подпрыгивал то вверх, то вниз.

Один из разведчиков с размаху точно всадил острие лопаты под крышку, попытался ее оторвать, но ничего не получилось – лопата гнулась. Тогда на помощь подоспели еще двое, с ломами, ударили разом, дерево затрещало, и крышка послушно сдвинулась на сторону; ее ухватили за края, перевернули, и из гроба, опалая глаза, возшло нестерпимо блестящее пламя.

Грохот разрыва долетел на мгновение позже.

6

Народ в вагоне подобрался разношерстный, случайный, поэтому Гусельников с Балабановым почти не разговаривали, предпочитая больше молчать и слушать других.

Было что послушать!

Неподалеку сидели двое железнодорожных кондукторов. Один – усатый здоровяк лет сорока, другой – стеснительный, еще молодой парень, видно, совсем недавно поступивший на службу и потому внимавший своему старшему товарищу с неподдельным уважением и интересом. Здоровяк, размахивая руками и похохатывая, громко рассказывал:

– Мы, то есть кто по нашему дорожному ведомству, от старого режима во как натерпелись! Мытарили нас, как каторжанцев, чуть какая заминка или оплошка – плетей, на работу не вышел – в контрразведку, а там такие мастера душу из человека вынимать... Добрые мастера! Но тут как жареным-то запахло, когда ясно стало, что из Омска бежать придется, они все, господа-бояре, зашевелились и в ножки нам – кувырк! Жить-то хочется, а бежать дальше ни на чем невозможно, кроме как по железке. Вот у нас в депо и стали для них вагончики готовить – обшить изнутри, законопатить... Еще договориться, чтобы вагончик этот к составу прицепить... Ну и цену ломили мы с них! Я в иной день по восемнадцать тысяч имел, а фунт хлеба на базаре – сорок копеек! Чуешь разницу?! От полной души за прошлые страдания отыгрались. Но больше всех машинисты наши поимели. Когда поезда-то пошли, они дотянут до первой-второй станции, а там ультиматум выкладывают: если дальше ехать желаете, господа хорошие, дополнительную денежку кладите. Ах, денежки нету? Тогда мы прямо щас ваш вагончик и отцепим. И бывало, бывало, что отцепляли. Затолкают в тупик, они там все и померзнут. Откроешь дверь в такой вагончик, а они валяются, до того подстыли, что звенят, сердешные.

И здоровяк весело хохотал, запрокидывая крупную, коротко остриженную голову. Парень восторженно смотрел на него, как на икону.

Гусельников горбился, ту же натягивал шапку, поднимал воротник шинели – только бы не слышать здоровяка кондуктора, но тот все не унимался и продолжал рассказывать и похохатывать.

А с другой стороны бойкий Мендель деловито расспрашивал тучного мужика в собачьей дохе, – как оказалось, тоже кооператора, – о ценах на продукты, и тот степенно, не торопясь, словно костяшками на счетах щелкал, ронял скупые слова:

– Подальше от городу надо... там продукту достаточно... по дешевке взять можно... А чтобы барыш поиметь, да с хорошим наваром... Ну, тут дело рисковое...

– Сильно рисковое? – дотошно интересовался Мендель, – какая причина?

– Да самая обыкновенная... тиф страшный в городе... Но зато и продать можно... С голодухи последнее отдать готовы... И золотую сережку из уха вынут...

– А мы не могли бы с вами в пай вступить? И вдвоем такое дельце провернуть? У меня разрешения, мандаты – все есть!

– Подумать надо... Дело-то и впрямь выгодное...

– А от тифа у меня средство имеется, замечательное, – бергамотовое масло: вот так, вокруг шеи мазнешь, руки, лицо чуть-чуть, чтобы запах существовал, – всякая гадость отскакивает. Если мы в пай вступим, я с вами поделиться могу...

– Нет, у меня свое... Жена мне пакетики тряпичные изладила... нафталину в них напихала и по всей одежде зашила... Пока, тьфу, тьфу! – целый...

Гусельников раскачивался, будто его мучила нестерпимая боль, стукался плечом о Балабанова, и тот слышал, что товарищ его от бессильной злобы скрипит зубами.

За дощатой стенкой вагона между тем поднималась над великой Барабинской степью знаменитая сибирская падера. Резкие порывы ветра сдернули верхний неужелазый слой снега

и погнали его извилистыми полосами к горизонту – будто разорвали сразу во многих местах неподвижную тишину воздуха. И хлынула в эти невидимые дыры бешеная сила, вздыбила степь и пошла гулять, вздымая над землей крутящиеся белесые столбы. Низенькое солнце, маячившее с утра, мгновенно исчезло, и полутемь-полусвет объяли все пространство, наполненное гулом и взвизгами.

Деревянные щиты, стоявшие раньше вдоль железнодорожного полотна и являвшие собой преграду для сыпучего снега, были разобраны на дрова и сожжены в паровозных топках и в железных печках в вагонах, поэтому тучи снега свободно гуляли по рельсам и шпалам, образуя местами огромные заносы. Поезд кряхтел, штурмывая их из последних сил, но снегу на путях становилось все больше и больше, заносы попадались все чаще, и под колесами вагона слышался скрип, будто они проворачивались в сухом песке. Паровоз изнемогал, дергаясь из последних сил, задушенно пыхтел, прорывая редкими вскриками гул ветра, и наконец встал – намертво.

Падера, подвизгивая от радости, бросила на остановившиеся вагоны новые крутящиеся столбы снега и стала заметать, заливать разнокалиберные вагоны, желая похоронить их по самые крыши, как были уже похоронены на соседних путях десятки таких поездов, в бессилии прекративших движение и замерших, казалось, навечно. Возле Чулыма брошенные поезда вытянулись одной сплошной лентой. Насквозь промороженные, заваленные сугробами, стояли пудмановские вагоны дальневосточного экспресса, просто вагоны разных классов, теплушки, цистерны, платформы, неисправные паровозы, взятые на буксир, санитарные летучки... Вагоны, вагоны – сотни, сотни вагонов, нагруженных невиданным добром: военное обмундирование, ящики со снарядами, полевые телефоны, мотки проволоки, бочки с керосином, на некоторых платформах были даже автомобили, а еще – нескладные трупы, благодаря которым все это добро сохранялось. Крестьяне окрестных деревень кинулись поначалу на множестве подвод за столь богатой и бесплатной добычей и даже кое-что успели захватить и привезти в свои деревни, но добро оказалось с изъяном – в считанные дни тиф начал выкашивать целые семьи. Набеги на остановившиеся поезда прекратились, да и некому было их совершать – почти все окрестные деревни лежали в лежку, мучаясь в горячечном бреде.

К утру падера утихомирилась. Над степью взошло розовое, веселое солнце, и ударил морозец. Дрова кончились, железная печка быстро остыла и почернела, в вагоне в считанные часы угнезвился лютый холод.

– Сколько тут еще до города осталось? – спросил Гусельников, ежась под негреющей шинелью.

– Много, – ответил Балабанов. – Ты что, предлагаешь пешком? Замерзнем!

– А здесь мы от жары померем? Пошли, Балабанов, другого выхода я не вижу. Пока пути очистят, пока тронутся – мы еще сутки здесь потеряем, не меньше. Пойдем, в дороге заодно и согреемся.

Ни с кем не прощаясь, они выпрыгнули из вагона, перебрались через высокий занос, который так и не смог одолеть паровоз, и быстрым шагом двинулись по замеченным шпалам – навстречу солнцу.

В ходьбе они и впрямь согрелись, да и морозец был щадящий, слегка лишь покусывал за щеки, а когда солнце полностью поднялось и легкий ветерок, оставшийся от падежи, окончательно стих, стало совсем хорошо.

– Эх, нам бы теперь по французской булке, да по стакану чая с сахаром, мы бы, пожалуй, и строевую затанули, – развеселился Балабанов.

Но Гусельников его шутки не поддержал. Шагал молча, сосредоточенно о чем-то думал и время от времени, сам того не замечая, кивал головой, очевидно, соглашаясь со своими мыслями. Вдруг отрывисто, словно решившись, сердито сказал:

– Мне полковник Семирадов ночью приснился. Как ты думаешь, Балабанов, к чему бы это?

– Матушка моя покойная так учила: помолиться надо за усопшего, помянуть его, свечку в храме поставить.

– Ну-ну! Только нет у нас с тобой, Балабанов, на сегодняшний день ни храма, ни свечки. А сон странный, пронзительный такой, и все четко, как наяву. Семирадов в парадной форме отдает мне честь и говорит при этом: «Вся моя надежда только на вас, поручик Гусельников. Не подведите...» Я пытаюсь руку поднять, чтобы откозырять ему, и – не могу! Не поднимается рука, будто не моя, а железная. Да-а, Алексей Семенович, если бы не ваш приказ, я бы к атаману Семенову ушел – чтобы драться, так до последнего. У-ух, как бы я сейчас воевал, зубами бы грыз! Ты слышал эти разговоры в вагоне, Балабанов, слышал это ликующее торжество немытого хама?! Хорошо, что оружия при мне не было, я бы не сдержался...

– Придется сдерживаться, иначе мы все провалим...

– Ладно, это я так, нервы... Погоди, погоди... Балабанов, видишь?

– Вижу. Это вячкие.

– Какие вячкие?

– Из Вятской губернии – их все так называют. Хотя тут и Пермь, и Самара, да, считай, пол-России здесь бредет. Ты что, ни разу не видел?

– Не доводилось.

– Тогда гляди.

Они невольно замедлили шаг, а навстречу им, подсвеченные со спины розовым солнцем, возникали вдали темные фигуры, сначала одна-две, затем их становилось больше, они сливались в сплошное пятно, и оно ползло по путям, придвигаясь медленно, но неумолимо. Ближе, ближе... И вот уже можно разглядеть черные, обмороженные лица, немыслимое тряпье и рвань, бывшее когда-то шинелями и сапогами. Люди шли, словно во сне, – тупо, безмолвно. Глаза их были неподвижны, и проскальзывало в них только чувство обреченности, как у животного, послушно бредущей на убой. Иные были обмотаны рванными кровавыми тряпками, застывшими и покоробившимися на морозе. И ни у одного не маячил за плечами пусть даже тощий солдатский мешок, они шли в том, что оставалось у них на теле.

Гусельников и Балабанов невольно спустились с путей, пропуская эти человеческие тени, затем долго глядели им вслед и вздрогнули, когда один из последних вдруг остановился, растопырив руки, покачался-покачался и рухнул наотмашь на спину, глухо ударившись затылком о рельс. Дернулся, подтягивая под себя ноги, и скатился под откос в снег. Никто из идущих даже не оглянулся.

– Пойдем, Балабанов, – Гусельников дернул его за рукав, – я посмотреть не могу. Откуда они?

– Всех пленных, захваченных в последнее время, красные разоружили, сняли с них все, что можно, и отпустили.

– Куда?

– Домой, в Вятскую губернию. В Самару, в Пермь – где были мобилизованы, туда и ступайте. Нынче свобода! Гуманизм-то какой – домой отпустили! А до дому тысячи верст. На поезда их не садят, лезут особо отчаянные на тормозные площадки, но это уже верная смерть – замерзают. Основная масса идет пешком. Как думаешь, много дойдет?

Гусельников ничего не ответил, глубже утянул шею в поднятый воротник шинели и почти побежал. Балабанов поспешил за ним следом.

Часа через два безостановочной ходьбы они увидели переезд и будку стрелочника, над крышей которой, из покосившейся трубы, тоненькой жидкой полоской покачивался дымок.

– Может, зайдём передохнуть? – предложил Гусельников.

– Не пустят. Исповедуют принцип – всех не обогреешь, а тысячи не накормишь.

– Пожалуй что и верно...

Когда они дошли до переезда, на дороге показалась подвода. Две лошадки тащили большие сани с высоким плетеным коробом. В коробе сидели люди. Гусельников с Балабановым остановились, пропуская подводу, и вдруг из короба высунулась большая меховая шапка, и неунывающий Мендель рассыпал скороговорку:

– Пане-господа-товарищи, зачем бить ноги, они еще пригодятся в вашей молодой жизни. Присаживайтесь с нами, плата совсем невысокая, а если мы ее поделим на четыре доли, она будет совсем ничтожной. Останови лошадей, любезный.

Пожилой возница натянул вожжи; Гусельников с Балабановым, не сговариваясь, полезли в короб. Там кроме Менделя сидел еще кооператор в собачьей дохе. Видно, в пай со своим расторопным спутником он уже вступил.

Ехать в коробе было жутко неудобно: ноги вытянуть невозможно, они затекали, – и поэтому все четверо беспрестанно ерзали, пытаясь устроиться половчее. Мендель, не умолкая, говорил с кооператором о предстоящей поездке по дальним селам, о ценах на продукты и заверял своего свежееиспеченного компаньона, что гешефт у них будет замечательный. Гусельников с Балабановым молчали.

Ночью, уже в полной темноте, переехав по льду через Обь, они прибыли в Новониколаевск. На правом берегу рассчитались с возницей, попрощались с неунывающим Менделем и скоро остались вдвоем посреди темноты, тишины и холода, которыми встречал их заснеженный город, судорожно быющийся в цепких объятиях тифа и голодухи.

– Господи, помоги! – Балабанов истово перекрестился.

7

Оглушенный взрывом, отплеываясь кровью, не чуя собственного тела, словно его и не было, Кли́н, срывая голос, хрипло кричал:

– Гони, Астафуров, гони!

– Да я же здесь ни черта не знаю! Куда гнать, командир?!

– Прямо гони, по улице! Кто первый попадется – в сани, пусть показывает больницу!

Но улицы в этот час были абсолютно пустыми. И Астафуров, нещадно нахлестывая коня, гнал по наитию, сам не зная куда.

Взрыв положил у края раскопанной могилы трех человек намертво, еще трое, в том числе и Бородовский, были тяжело ранены, лежали сейчас в несущихся санях и стонали. Кли́н, при-мостившись на коленях, придерживал безвольно мотающуюся голову Бородовского, озирался по сторонам – ну, хоть бы одна живая душа!

Никого!

– Стой! Стой, Астафуров!

Кли́н осторожно опустил голову Бородовского, выскочил из саней и бросился к низкому домику, заметенному снегом по самые темные окна. Жалобно задребезжала старая рама под ударами рукоятки маузера. На стук в домике никто не отзывался. Тогда Кли́н выстрелил в воздух и снова ударил по раме – звякнуло разбитое стекло.

– Выходи, кто живой! Я приказываю – выходи! Или перестреляю всех к чертовой матери!

В ответ на столь яростный напор испуганно заскрипел засов на глухих воротах, мужской голос отозвался:

– Чего надо?! Я тоже пальнуть могу, у меня ружье имеется – вот, в руках держу!

– Бросай свое ружье, выходи – дорогу до больницы покажешь! Раненые у нас! – Кли́н запоздало сообразил, что пугать хозяина, поднятого среди ночи, не следует, и уже спокойней, просительно заговорил: – Понимаешь, раненые, в санях лежат, а дороги до больницы не знаем. Покажи! Они кровью исходят!

Тягуче проскрипел еще один засов, дверь чуть-чуть, опасливо приоткрылась, и борода-тый мужик боязливо выглянул в узкую щель.

– Да не бойся, мы не грабители, – как мог Кли́н старался успокоить мужика, – выйди, глянь, вон сани стоят, а в них раненые.

Дверь открылась чуть пошире, мужик вышагнул наружу. Никакого ружья в руках у него, конечно, не было. Как вскочил в подштанниках и нижней рубахе, так и выбежал, успев только обуть валенки да нахлобучить на голову обтерханную шапку. Кли́н, не раздумывая, ухватил его за рубаху и потащил к саням, подталкивая стволом маузера в бок.

– Теперь видишь?

– Вижу, – отозвался мужик, – да отцепись ты, чего лапаешь, как бабу. Заразная больница имеется, не так далеко. Погоди, я оденусь.

Кли́н выпустил из крепко сведенных пальцев ткань рубахи и мужик быстрым шагом поспешил к себе в дом. Вернулся скоро, в полушубке, перетянута веревочной опояской, и в мохнашках, собачьих рукавицах. Замешкался, не зная, куда присесть на сани.

– Не топчись, – подсказал Астафуров, – давай на коня, сверху, а ноги на оглобли ставь. Да быстрее ты, кого телишься!

Мужик с трудом взгромоздился на коня, утвердил подошвы подшитых валенок на оглоб-лях, махнул рукой:

– Прямо давай!

Засунул мохнашки за отворот полушубка и уцепился голыми руками за конскую гриву.

Сани колотились на ухабах, скользили полозьями на поворотах, скрипели, и казалось, что они вот-вот развалятся. Но они дюжили. Скоро въехали во двор бывшей гимназии, нынешней заразной больницы, где светились мигающими огоньками несколько высоких окон.

Клин взбежал на высокое деревянное крыльцо, ударил плечом в тяжелые двери, и они послушно перед ним распахнулись. В коридоре, прямо на полу, на серых засаленных матрасах, на соломе, кое-как закрытой тряпками, лежали больные. В нос сразушибануло такой густой вонью, что защипало глаза. Клин, перешагивая через больных, пошел дальше по коридору, и тут ему навстречу попал санитар...

– Где доктор? – Клин цепко ухватил его за воротник грязного халата.

– В анусе, – тускло, равнодушно ответил ему санитар и поднял воспаленные глаза с красными веками.

– Где доктор?! – заревел Клин и судорожно принялся расстегивать кобуру маузера.

– Второй этаж, комната в углу, ведет осмотр больных. И не цапай меня за грудки, я сам тифозный. Плюну в рожу – таким же будешь. Отцепляйся...

Клин испуганно отдернул руку и побежал на второй этаж. В маленькой комнатке доктор Обижаев действительно осматривал двух больных, которые сидели рядышком, голые по пояс, на низком топчане, застеленном клеенкой.

– Доктор, мы раненых доставили! Срочно! Пойдем, я покажу!

Обижаев, согнувшись, держал в тонких длинных пальцах блестящий шпатель и старательно заглядывал в рот одному из больных – худому, изможденному старику; на появление Клина, на его голос никак не отреагировал. Даже головы не повернул, даже глаз не скосил.

– Ты что, глухой?! – Клин, уже в который раз за сегодняшнюю ночь, выдернул из кобуры маузер.

– Ну, все, братцы, – Обижаев выпрямился во весь свой высокий рост, – жить будете, завтра на выписку. Одежду прожаривать, мыться хотя бы два раза в неделю; жрать, если пища имеется, понемногу, но часто. Одевайтесь.

– Слышишь, коновал, или как там тебя?! Я раненых доставил!

– Наган – в кобуру, рот – на замок, а командирский гонор – в поганое ведро, – Обижаев повернулся спиной, присел за столик, обмакнул перо ручки в чернильницу и принялся что-то быстро записывать в толстой амбарной книге.

– Да я ж... – задохнулся Клин, – я ж тебя шлепну!

Только что осмотренные больные, схватив рубахи, которые не успели надеть, мигом испарились из комнатки, забыв закрыть за собой дверь. Обижаев, горбясь, продолжал писать.

Клин снова закричал, размахивая маузером, но Обижаев даже не обернулся – писал.

– Ну, все, коновал, ты меня до края довел! – ярился Клин. – Выходи на улицу! Или прямо здесь башку тебе прострелю!

– Пошел вон, щенок! И дверь закрой. Закончу – позову. А пристрелишь – кто твоих раненых лечить будет? Коновалы, и те давным-давно разбежались. Я один остался, на всю округу. Пошел вон, не мешай...

И столько было в голосе у Обижаева непоказного спокойствия и безмерной усталости, что Клин понял: криком и даже маузером здесь уже никого не напугаешь. Все повидали.

Из комнатки он не вышел, но дверь прикрыл и сел на кушетку. Маузер засунул обратно в кобуру.

Обижаев закончил писать, плюхнул ручку в чернильницу и сердито захлопнул амбарную книгу. Повернулся на тонко скрипнувшем стуле и вежливо поздоровался:

– Здравствуйте, молодой человек. Слушаю вас.

– Я раненых доставил. Осколочные ранения, кровью истекают... Один из них – особый представитель Сибревкома, товарищ Бородовский!

– Кровь, молодой человек, у всех одинакова. У особых представителей, не особых, даже у царей и вождей пролетариата. Это я вам как доктор говорю, поверьте моему опыту. Так... Раненых на второй этаж, в перевязочную. Что расселись, молодой человек, быстрее! Им же помощь нужна.

Клин выскочил из комнатки, будто его ветром сдуло. Обижаев вышел следом за ним, но направился не в перевязочную, а спустился на первый этаж, в боковую комнату в конце коридора. Там сидел Филипыч и прихлебывал из железной кружки голый кипяток. Увидев Обижаева, он отодвинул кружку в сторону и сразу заторопился:

– Доставили, Анатолий Николаич, тихо-мирно, никто не видел. Пока за ней старуха моя приглядит, а я, как велели, вот, тута... Лошадку там, в дальнем углу привязал. Выходите, я мигом домчу.

– Придется тебе, дед, подождать. Дела у меня. На-ка вот, подсласти горькую долю... – из кармана халата Обижаев достал маленький кусочек сахара и положил его на стол перед Филипычем.

– Ну, дак... Обождем, если требуется... А за сахарок спасибочко, Анатолий Николаич, я уж и не помню, когда последний раз его хрумкал.

Обижаев усмехнулся и, выходя из комнатки, попросил:

– Ты уж дождись, дед.

– Обожду, Анатолий Николаич, обожду... Ты не сомневайся!

Возле дверей перевязочной уже маячил Клин. Тихий, смирный, словно вовсе и не он несколько минут назад грозился открыть пальбу. Угодливо отскочил в сторону, освобождая доктору дорогу, доложил:

– Раненых доставили.

– Ждите здесь, – на ходу буркнул ему Обижаев.

Клин добросовестно простоял в коридоре часа три, слушая стоны и крики, доносившиеся из-за двустворчатых дверей с медной ручкой. Но вот они наконец распахнулись, из них выпагнул Обижаев, вытирая руки полотенцем, и молча кивнул Клину, давая понять, чтобы тот следовал за ним.

В угловой комнатке он снова присел за стол, открыл амбарную книгу и начал писать.

– Фамилии? – не оборачиваясь, спросил у Клина.

– Чьи?

– Апостолов Петра и Павла. Фамилии раненых!

– Бородовский, Кольчугин, Дмитриенко. Как они, доктор?

– Как, как... Выживет только один, седой. Фамилия у него?

– Бородовский.

– Значит, Бородовский. Посекло ноги, большая потеря крови, но жить будет. У этих двоих – ранения в живот. Осколки, земля, щепки, тряпки – все в кишки влетело. До утра, может, еще помучаются. Бородовского забирайте, ему здесь не место – больница у нас, будет вам известно, инфекционная, в просторечии – заразная. Схватит тиф и... Завтра в двенадцать часов пришлете за мной подводу, я приеду и посмотрю. Все, молодой человек, за сим имею честь раскланяться.

– Чего-чего? – не понял Клин.

– Того-того. До свиданья.

Понурился, Клин отправился на улицу за Астафуровым. Вдвоем они спустили Бородовского вниз, уложили на сани, и тот, видно, хлебнув морозного воздуха, пришел в себя, надсадно просипел:

– Клин... документы...

– У меня, в полной сохранности.

– Там, у могилы, что взорвалось?

– Не знаю точно, похоже, гранаты были запрятаны. Проволочку к чеке подцепили, а другой конец – к крышке примотали. Крышку дернули, ну и рвануло. Знаю такие штуки. Но это я предполагаю, некогда было разглядывать. Оставил караул, сейчас рассветает, поеду, гляну внимательней.

– Обязательно, очень важно, Клинт... Посмотри, нет ли там каких бумаг... Все узнай, теперь на тебя надежда...

Сани трянуло на ухабе, Бородовский закашлялся и замолчал.

На небе под утро вызрели крупные, мохнатые звезды, и они удивленно смотрели на землю, где так много творилось неразумных дел.

8

...Люстры горели ослепительно ярко. Веселая, искрящаяся музыка захватывала без остатка и приподнимала над паркетом легкое, невесомое тело, которое летело и летело, стремительно кружась в вальсе. Взвизгивался подол розового платья, взвизгивались распущенные волосы, разлетаясь над голыми плечиками, и видно было сверху, что точно так же, легко и невесомо, кружатся внизу нарядные люди, но все они почему-то были маленькими, словно игрушечными. А музыка не умолкала, она набирала силу и поднималась выше, выше, увлекая за собой следом. И вот уже сверкающие люстры остались внизу, маленькие люди стали почти неразличимыми, сливаясь в одно разноцветное пятно. И так было радостно, так легко и свободно было в этом кружащемся полете, что сам собою вырывался из груди звонкий, рассыпающийся смех – не было сил прервать его, да и не хотелось прерывать. А неведомая сила между тем несла дальше и дальше, не сбиваясь с кружащегося ритма танца. Мелькала, почему-то уже не внизу, а совсем рядом, пестрая тройка с красными и голубыми лентами на дугах; звенели, вплетаясь в мелодию вальса, нисколько не нарушая ее, медные колокольчики...

Динь-динь, динь-динь-динь...

Свадебная тройка!

И она, Тонечка, несется на ней в неизвестность. Проскакивают мимо горящие фонари, костры, какие-то люди машут ей вслед белыми платочками, такими же белыми, как и платье на ней – свадебное. Колышется, трепещет за спиной от встречного воздуха длинная фата. А где жених? Нет жениха! Одна-одинешенька сидит Тонечка в коляске, богато убранной цветными коврами. Боже мой! И кучера нет! Сама по себе несется тройка, без узды и вожжей – в темное ночное пространство.

Динь-динь, динь-динь-динь...

В большом стакане доктор Обижаев размешивает ложечкой мутную микстуру, и ложечка звякает о тонкое стекло.

– Ну, давай, давай, голубушка, выкарабкивайся...

Крепкая рука отрывает ее от подушки, чуть приподнимает, и холодное стекло стакана стучится о зубы. Противная микстура с резким химическим запахом аптеки застревает в горле, словно сухой кусок, и Тоня судорожно глотает ее, чтобы не захлебнуться. Все тело от этих усилий мгновенно покрывается испариной.

– Умница! Сейчас еще камфару впрыснем...

Укол в руку кажется Тоне легким комариным укусом, она снова уплывает в сон, на этот раз он спокойный, ровный и без всяких видений.

В явь она возвращается уже с ясным сознанием и грызущим в желудке ощущением голода. Открывает глаза и видит прямо перед собой круглолицую старушку в низко повязанном темном платке.

– Вы кто? Где я? – голос у нее шуршит, как сухая бумага.

– Здеся, милочка, здеся, на энтот свете, на тот тебе еще рано уходить, тут-ка оставайся. Погоди, я тебе супчику, теплого – Анатолий Николаич, дай ему Бог здоровья, двух петухов вчера откуда-то доставил; старые, правда, петухи, старей меня, да по нынешним временам и это сладость. И хлебца маненько есть, я тебе его крошками прямо в суп накрошу. Подымайся, моя милочка, подымайся, я тебя с ложечки и покормлю. Вот как ладно!

Теплый куриный суп с размякшими кусочками хлеба кажется необыкновенно вкусным, хочется еще и еще, но старушка кладет со стуком ложку в пустую чашку и ласково приговаривает:

– А боле, моя милочка, нельзя. Анатолий Николаич настрого наказал – поманенечку, поцаще и поманенечку. Ты уж потерпи пока, а время пройдет, я и снова покормлю.

Тоня сглотнула слюну, и на щеки ей выкатились две слезинки – от жалости к самой себе. Она закрыла глаза, перемогая давящий ее голод, ни капли не утоленный куриным супом с хлебными крошками, и снова спросила:

– Где я?

– Да неужель ты меня не помнишь, милочка моя, Антонина Сергеевна? Каждый год мы на Пасху к вам приезжали, христосоваться. Правда, время-то сколь прошло, сколь воды утекло, да и я вся выцвела, мудрено сразу-то признать. Кучера-то вашего, Филипыча, помнишь? Ну вот... А я бабка евонная, Пелагея, по батюшке Даниловна. Так теперь и кличут все – Даниловна.

Тоня вспомнила кучера Филипыча, но супругу его вспомнить не смогла. Пасха, христосоваться, полный дом гостей... – когда это было! Да и было ли?!

– А как я здесь оказалась?

– Ой, милочка моя, – заворковала Даниловна, – откуда мне знать, как ты здесь оказалась? Филипыч мой привез, а где и как, не докладывал, пердун старый. Сказал только, что Анатолий Николаич тебя из заразной больницы выручил. Вот он придет, Анатолий Николаич, ты у него и поспрашивай. А теперь лежи, подреми, моя милочка, я пойду дровец принесу, печку истопить надобно, морозец-то нынче резвый подскакиват...

Говорливая Даниловна вышла за дровами, крепко пристукнув за собой двери. Тоня, оставшись одна, приподняла голову и огляделась. Лежала она в маленькой горнице, у стены; напротив стоял стол, накрытый скатертью с кистями, в переднем углу – иконостас с большими темными иконами, украшенный длинным вышитым полотенцем, на крашенных половицах – веселые домотканые половички. В окна, затянутые густой изморозью, светило блестящее солнце. Значит, на дворе стоял день. Какой же это день, сколько она ехала? И тут же дернулась, словно голову опалило каленым железом: «Письмо! Где письмо?! Кто его взял, пока я была без памяти?!» Она попыталась вскочить, но голова закружилась, стол подпрыгнул вверх и полез на потолок, кровать полетела вниз, будто под ней разверзся пол. Обессиленная, Тоня упала на подушку, горячими ладонями закрыла лицо, стараясь переждать приступ головокружения.

В это время заскрипела дверь и донесся без перерыва льющийся говорок Даниловны:

– Проходите, Анатолий Николаич, проходите, а то я с дровами тут расшаперилась... Самовар поставлю, с морозу чайку попить. Он у меня с травками, лучше лавочного.

Загремели дрова возле печки, послышались крепкие мужские шаги, и доктор Обижаев, присев на краешек кровати, положил прохладную ладонь на коротко остриженную голову Тони, похвалил:

– Молодцом, голубушка, молодцом. Теперь на поправку. Самое страшное позади, а самое лучшее – впереди. Дама вы еще молодая, организм не изношен – справится. Через недельку на ноги встанете, а еще через недельку можно будет завлекать галантных кавалеров. Правда, на сегодняшний день их в округе не наблюдается, но будем надеяться, что тяжкие времена минуют и новый день принесет нам только радости. Теперь померим температуру, выпьем живительной микстуры, и можно будет похлебать супчику.

Доктора Обижаева, как только он вошел, Тоня узнала сразу. Он почти не изменился с тех пор, когда приезжал к Шалагиным и лечил Тонечку от ангины, которой она болела в детстве почти каждую зиму. Те же глубокие залысины на крупной породистой голове, тот же задорный хохолок реденьких волос между этими залысинами, те же тонкие, длинные пальцы, как у музыканта, только глаза, раньше светившиеся хитровой лукавинкой, теперь словно потухли, смотрели с неизбывной усталостью и печалью. Он померил Тоне температуру, заставил выпить противную микстуру, а затем велел Даниловне накормить больную. И пока та кормила Тоню с ложечки, он неподвижно сидел за столом, низко опустив голову, и казалось, что дремал.

Пришел Филипыч, долго раздевался, кряхтя и кашляя, затем принялся ворчать на Даниловну, которая развалила поленницу; наворчавшись, осторожно заглянул в горницу, но войти

не насмелился. Сел на лавку возле дверей и затих, только время от времени тяжело вздыхал, протяжно выговаривая после каждого вздоха: «Э-э-эх!»

Когда чашка с супом опустела и ложка глухо стукнулась о чисто выскобленное дно, Обижаев поднял голову:

– Пелагея Даниловна, вы бы сходили с Филипычем, сложили поленницу, чтобы он не ругался. И мир у вас в семье будет, и мне с Антониной Сергеевной наедине поговорить требуется. Вы уж простите меня великодушно, не обижайтесь.

Даниловна понимающе кивнула, махом растормошила Филипыча, и они дружно отправились поправлять поленницу. Обижаев, не поднимаясь из-за стола, устало заговорил, словно угадав и опередив вопросы, которые ему хотела задать Тоня:

– Сняли вас, голубушка, с поезда здесь, в Новониколаевске, привезли в нашу инфекционную больницу, – она теперь, к слову сказать, в бывшей вашей гимназии располагается. Были вы без сознания, бредили. Но бред ваш временами казался мне очень странным. Посудите сами: «Пароль не забыть, пароль не забыть. Вы не сдадите квартиру для трех человек, мы беженцы, рассчитаемся царскими червонцами. А это смотря какими червонцами, может, они у вас фальшивые. Нет, настоящие, в Омской пробирной палате проверенные, сам господин Голохвастов проверял. Ну, если Голохвастов, тогда поторгуемся». И так без конца. Хорошо, что санитары у меня всегда вполпьяна трудятся, внимания не обратили. Но письмецо, которое, пардон, в нижнем белье было зашито, они расковыряли, когда вас переодевали: деньги, конечно, искали, шельмы. Хорошо, что я вовремя подросел и отобрал. Успели они его прочесть или нет – не знаю.

– А вы? Вы прочитали? – Тоня попыталась поднять голову от подушки, но не смогла, только бессильно дернулась.

– Вообще-то я не имею привычки подглядывать в замочные скважины, но тут случай особый, я же за вас беспокоился. Прочитал. И возвращаю законной владелице. С одним советом – бросьте эти игрушки, Антонина Сергеевна. Все проиграно, возврата не будет. Как говорит один из моих санитаров, – все в анусе. Уж простите, что так выражаюсь, но правда нынче именно такова – грубая и грязная... Завтра я постараюсь выкроить часок, приду и посмотрю вас. Держите.

Обижаев поднялся из-за стола, из внутреннего кармана пиджака достал сложенный треугольником листок бумаги, вложил его в ладонь Тоне и вышел из горницы, не прощаясь.

Маленький измятый треугольник залоснился по краям, мелкие буквы, написанные черными чернилами, поблекли, но виделись и читались достаточно ясно: «Каретникову. Податели этого письма в полном Вашем распоряжении. Люди проверенные и надежные. Мой приказ остается в силе, и я надеюсь на Ваше слово чести. Предмет наших общих усилий востребован сегодня необычайно, более того, от этого предмета напрямую зависит успех борьбы и нашего общего дела. Все инструкции и указания у подателей письма. Да поможет нам Бог!»

Витиеватая подпись была неразборчива. Но если бы кто-то старательно взгляделся, он смог бы прочесть: «А. Семирадов».

9

Небольшой аккуратный домик на каменном фундаменте и с высоким резным крыльцом был отгорожен от улицы и от любопытных глаз глухим забором, сколоченным из толстых плах. В заборе была проделана калитка, и на ней висело железное кольцо. Балабанов ухватился за него, попытался повернуть, чтобы открыть калитку, но не тут-то было – кольцо даже не шевельнулось. Видно, изнутри защелка была крепко привязана, а сама калитка притиснута к столбу прочным засовом. Остерегались нынче люди жить открыто. И каждый сооружал самодельную оборону, как мог и как умел.

Балабанов еще раз безуспешно попытался повернуть кольцо, но оно было закреплено намертво. Тогда он с силой ударил кулаком в калитку. Глухой гул нарушил ночную тишину Змеиногорской улицы, застроенной крепкими домами и замеченной сейчас высокими сугробами. На стук долго никто не отзывался, и Балабанов настойчиво продолжал долбиться. Наконец скрипнула дверь, и по-хозяйски уверенный голос известил, как уже, вероятно, извещал не один раз:

– Хлеба не подаем, на постой не пускаем!

– Вы не сдадите квартиру для трех человек? Мы беженцы, расплатимся царскими червонцами, – Балабанов замер, подняв голову, в ожидании ответа. И услышал, после недолгой паузы:

– А это смотря какими, может, они у вас фальшивые.

– Нет, настоящие, в Омской пробирной палате проверенные, сам господин Голохвастов проверял.

– Ну, если Голохвастов, тогда поторгуюсь. Подождите, сейчас открою.

За толстыми плахами послышались осторожные шаги, заскрипела проволока, стукнул отодвигаемый запор, и калитка бесшумно распахнулась.

– Входите, быстро. Ступайте в дом, я сейчас...

Балабанов и Гусельников проскользнули во двор, поднялись на высокое крыльцо и ввалились в дом, по очереди запнувшись о высокий порог и ощутив с блаженством живительное тепло печки, обложенной синими изразцами. Не удержались, разом стащили перчатки и протянули к ней руки. Последние дни, проведенные в постоянном холоде, давали о себе знать; измученные тела, насквозь пронизанные ознобом, била мелкая дрожь.

– Да вы раздевайтесь, потом обогреетесь. Только всю одежду попрошу в сени, на мороз, сами понимаете... Исподнее тоже в сени. У меня два чугуна горячей воды – как знал, поставил. И шайка имеется. Вот здесь, за печкой, мойтесь. Мыло на полке. А я что-нибудь подберу быстренько, ростом мы, кажется, все одинаковы...

Хозяин дома, невысокий чернявый мужчина, похожий на проворного жука, скрылся в боковой комнате и скоро вынес оттуда пару брюк, рубахи и два толстых клетчатых пледа. Лицо у него, изуродованное кривым, через всю правую щеку шрамом, было сосредоточенным, словно он делал очень важную работу. Ни о чем не спрашивал, не разглядывал своих ночных гостей, а торопился их обиходить: наверное, хорошо знал, что значит сейчас для них горячая вода, тепло печки и чистая одежда.

Пока Балабанов с Гусельниковым мылись, толкаясь возле деревянной шайки, вода в которой сразу стала черной, хозяин быстро и ловко выставил на стол вареную картошку и краюху хлеба. Окинул все это оценивающим взглядом и спросил:

– Господа, спирт пить будете?

– Будем, – сквозь зубы отозвался Гусельников, которого до сих пор била дрожь.

Хозяин достал из шкафа два больших аптечных флакона, содержимое их вылил в стаканы и поставил рядом жестяной ковш с водой.

– Ну вот, прошу отведавать разносолов. Спирт неразведенный, разбавляйте сами, как вам угодно.

– К черту, воду хлебать... – Гусельников нетерпеливо схватил стакан и в три глотка влил в себя огненный спирт. Носом втянул воздух, выдохнул и лишь после этого отхлебнул из ковша воды. Питок, по всему виду, он был опытный. Балабанов пить не стал, смущенно оправдывался:

– Я закушу сначала – боюсь, что сразу опьянею...

– У-у-ух! – Гусельников прижмурил глаза. – Какое тепло пошло! Господи, бывают же счастливые минуты! Спасибо. Позвольте узнать – с кем имеем дело? Кого благодарить за столь радушный прием?

– Вы закусывайте, закусывайте, говорить будем после. А дело вы имеете, господа, с Каретниковым Владимиром Михайловичем, сотрудником местного Чекатифа.

– А раньше? До ЧК? – резко спросил Гусельников.

– До этого я служил штабс-капитаном. Вы удовлетворены?

– Вполне. Не обижайтесь, у меня скулы сводит от этого нового совдеповского языка. В Омске попала газетенка, пишут, что создана «Чеквалап». Что сие значит? Вовек не догадаетесь! «Чрезвычайная комиссия по валенкам и лаптям»! Прошу прощения, разрешите представиться – поручик Гусельников, поручик Балабанов.

– Вот и хорошо, – Каретников потер ладонью шрам на щеке, помолчал и дальше заговорил совершенно другим голосом – командирским: – Давайте к делу. Ваша отправка в Харбин откладывается на неопределенное время. Груза, с которым вы должны убыть отсюда, у меня нет.

– Как нет?! – вскинулся Балабанов. – Антонина Сергеевна Шалагина...

– Не перебивайте, поручик, я не все сказал. Антонина Сергеевна Шалагина и человек, который ее сопровождал, в Новониколаевске не появились. Прошло уже две недели – их нет. Местонахождение груза известно только им. У них же должно быть письмо от Семирадова. На всякий случай, для страховки, чтобы большевистского агента не подсунили.

– Я Антонину Шалагину знаю в лицо, – негромко сообщил Балабанов.

– Это очень хорошо, что знаете, да только самого лица здесь нет.

– Может, застряли на какой-нибудь станции, поезда нынче ползают, как черепахи... – предположил Гусельников.

– Исключено. Их передавали по цепочке, последний раз – в Мариинске. Поезд, в котором их отправили, в Новониколаевск пришел. Но здесь, – Каретников ногтем указательного пальца постучал по столешнице, – они не появились.

– Может, тиф? – снова предположил Гусельников.

– Возможно. В такой кутерьме все возможно. Я предполагаю даже самый худший вариант – их взяли красные. В любом случае, времени у нас в обрез, но сутки я вам даю на отдых.

– Отдых... Какое долгожданное слово, – Гусельников скатал шарик из оставшихся хлебных крошек, закинул его в рот, пожевал и широко зевнул.

После еды и выпивки, разомлев в тепле, они с Балабановым совсем осоловели, стали клевать носами, и Каретников, резко прервав разговор, отвел их в боковую комнату, где стоял широкий топчан. Не раздеваясь, они рухнули на него, и Гусельников, мгновенно засыпая, успел только невнятно пробормотать:

– Какое счастье...

10

Доктор Обижаев не ошибся. Раненые разведчики, Кольчугин и Дмитриенко, тихо скончались рано утром, почти одновременно. Кли́н, приехавший их навестить, а заодно и доставить доктора, чтобы тот осмотрел Бородовского и сделал ему перевязку, узнав о смерти товарищей, с которыми вместе воевал больше года, выругался сквозь зубы и вышел из заразной больницы, низко опустив голову в овечьей папахе, круто надвинутой на самые глаза. Подошел к ожидавшему его Астафурову, присел на сани и попросил:

– Сверни мне самокрутку.

– Ты чего, командир, закурить решил? Сроду не баловался...

– Решил... погоди, я еще и напьюсь сегодня... Ребята умерли, Кольчугин с Дмитриенко. Вот такая гулянка у нас нынче, Астафуров. Да ладно, не крути ты ее, чего зря махорку переводить. Подгоняй ближе, пойдем забирать.

Вдвоем с Астафуровым они вынесли покойных из больницы, уложили на сани и закрыли рваным казенным одеялом, которое попутно прихватили в коридоре. Доктор ехать на осмотр Бородовского отказался, ссылаясь на занятость. Уговаривать его Кли́н не стал, думал про себя: «Ни хрена ему, этому особому представителю, не сделается. Не помрет, если денек-другой без доктора поваляется. Тоже мне, ком с горы! Пятерых ребят положили! И не в бою, не в разведке, а у какой-то могилы полковничьей, где этого полковника сроду и не было!»

Моги́лу, или, точнее, то, что посчитал моги́лой Бородовский, утром после ночного взрыва Кли́н исползал на коленках вдоль и поперек, пытаясь отыскать хоть какие-то следы покойника. Зря старался: только лаковые щепки от гроба да опаленные тряпки голубого атласа, которым он был обит изнутри. Больше ничего обнаружить не удалось, если не считать маленького кусочка металлической проволоки да искореженного кольца от ручной бомбы, которое увидел совершенно случайно Астафуров – оно изогнутым кругляшом глубоко врезалось в кору ближней березы. Ясно было, что гроб в могилу опустили совершенно пустой, а вместо брэнного тела усопшего положили ручные бомбы. К кольцу одной из них, сняв с предохранителя, прицепили проволочку и закрепили ее на крышке гроба – устроена была хитрая ловушка так, как и предполагал Кли́н в самом начале. Ни одного клочка бумаг, которые желал увидеть Бородовский, найти не удалось.

Кольцо от гранаты и кусок проволоки Кли́н завернул в обгорелый атлас и сунул в карман, а сам взялся за лопату и принялся выкидывать песок из обвалившейся могилы – не долбить же мерзлую землю в другом месте. Трех разведчиков, сразу погибших при взрыве, в этой странной могиле и схоронили. Теперь придется заново раскапывать ее и укладывать сверху еще двоих.

– Давай прямо на кладбище, не будем ребят дергать, пусть отдыхают. Ты не помнишь, там лопаты остались?

– Все там осталось, весь шанцевый инструмент, будет чем зарыть, – Астафуров смачно выругался и понужнул лошадку.

Улицы в ранний утренний час были почти пустыми – редко-редко замаячат прохожие, смахивающие на черных жуков на белом снегу, или проскользнет одинокая подвода с нахохленным возницей. А кругом – сугробы, сугробы... Казалось, что весь город покрыт заносами с извилистыми пушистыми гребнями, весело искрящимися сейчас на солнце.

И все-таки жизнь окончательно не затухала: из труб тянулись дымы, где-то орал петух, заполошно хлопая крыльями, а навстречу вдруг, совсем неожиданно, попался водовоз. Большая обледенелая бочка была установлена на санях, на ухабах в ней глухо булькала вода, выплескиваясь наружу, и болталось из стороны в сторону деревянное ведро, которое висело на изогнутом железном крюке, вбитом в передок саней. Водовоз, молодой, рыжий парень, сидел верхом на бочке, как в седле, правил своим вороным жеребчиком и весело распевал во все горло:

Ах, то, ах, то,
Куплю новое пальто,
Выйду в поле, закричу:
– Как бабенку я хочу!

– Ишь ты, рыжий-пыжий, разобрало тебя с утра, – усмехнулся Астафуров, а когда они поравнялись с водовозом, крикнул ему:

– Ты бы, парень, не орал таких песен, мы покойных везем, товарищей своих.

Парень снял шапку, рассыпав рыжие кудри, поклонился и, снова нахлобучив ее на голову, возразил:

– Да как же не орать, военный ты человек, я на прошлой неделе всех своих отвез, до единого. И таскать нам с тобой покойничков, не перетаскать! А жить-то все равно надо! Раньше смерти помирать никак невозможно!

Крепко крикнул, словно водки в рот опрокинул, и еще громче, еще отчаянней затянул:

Не кори меня, мамаша,
Что я в девках родила,
Ведь она, родная наша,
Для того дана была!

И долго еще над тихой улицей слышался бедовый голос, распеваящий похабные частушки.

На кладбище Клин с Астафуровым, еще раз раскопав могилу, уложили Кольчугина с Дмитриенко, накрыли их рваным одеялом, которое даже на морозе воняло карболкой, и торопливо закидали песком, уже успевшим подмерзнуть и отвердеть. Всю эту печальную работу они делали молча, не глядя друг на друга, словно чего-то стыдились. Может быть, своей торопливости, с которой они старались все завершить и поскорее уехать?

Но как ни спешили, а вернулись в шалагинский дом только к обеду. И сразу же, увидев лица своих бойцов, Клин понял: что-то случилось. Иван Гурьянов, самый старший из разведчиков, было ему уже далеко за тридцать лет, тихонько поманил командира, предлагая выйти на улицу. Клин, ни о чем не спрашивая, круто развернулся и спустился со второго этажа во двор.

Гурьянов выбежал следом, на ходу натягивая шинель и путаясь в рукавах. Его грубое лицо с широкими чалдонскими скулами и узкими глазами было растерянным.

– Неладно у нас, командир, – сразу заговорил Гурьянов, приблизившись к Клину почти вплотную, так близко, что тот даже различил махорочный запах у него изо рта. – Этот, особый... Как только ты за порог сегодня, он давай нас по одному к себе таскать и у всех одно и то же выпытывать: что за человек ваш командир, да как он воюет, да предан ли делу революции... А глаза из-под стеклянных гляделок – как у змеюки. И все чего-то тянет, тянет, как кот за причинное место. Не иначе он тебе, командир, гадость какую-то готовит. С могилой этой, похоже, опростоволосился, не собирается ли на тебя всю беду свалить... Шибко он ребятам не глянется. А тут еще, перед твоим приходом, двое субчиков к нему приходили, один у дверей стоял, караулил, а другой все с особым шептался. Как хочешь, командир, а кислое у нас дело. Трех человек закопали из-за этого очкатого, да еще двое – неизвестно выживут или нет...

– Не выживут. Умерли Кольчугин с Дмитриенко сегодня. Схоронили мы их, там же, в этой чертовой могиле.

– Ну вот, значит, пятеро. Слышь, командир, – Гурьянов понизил голос до свистящего шепота, – может, мы ему, особому-то, ночью подушку на личико положим, придавим маленько

и за ноги за руки подержим, чтоб не оцарапался... Помер раненый, а по какой такой причине – нам неизвестно, мы же не доктора...

– Гурьянов, ты эти штучки брось! Выкинь из головы! И не вздумай ребятам говорить. Сам разберусь. Смотри у меня!

Для большей убедительности Клин показал Гурьянову кулак и первым, не оглядываясь, пошел к крыльцу.

В доме, не раздеваясь, он сразу толкнул дверь в бывший кабинет Сергея Ипполитовича, где лежал теперь на кровати раненый Бородовский. Лицо у него заострилось, как у покойника, он тяжело, со свистом дышал, но бесцветные глаза из-под очков смотрели по-прежнему жестко и холодно. Увидев Клина, Бородовский ухватился руками за спинку кровати, подтянулся, повыше укладывая голову на подушке, и прерывистым, задышным голосом приказал:

– Бери стул, садись. Могилу осмотрел? Никаких бумаг там нет?

Клин сунул руку в карман куртки и вытащил клочок обгорелого атласа, развернул его и положил на краешек кровати.

– Вот, как я и говорил. Бомбы там были, а больше ничего не было. Пустой гроб. Двое моих разведчиков, Кольчугин и Дмитриенко, умерли сегодня в больнице. Общие потери – пять человек. Я узнать хотел...

– Тебе ничего знать не надо, – властно перебил Бородовский, и голос его, по-прежнему прерывистый и задышный, неожиданно налился силой. – Ты здесь находишься не для того, чтобы знать, а для того, чтобы исполнять мои приказания. Возле дома выставить круглосуточный караул – сейчас же. Всех предупредить, чтобы никаких разговоров с местным населением о взрыве на кладбище. Выход в город – только с моего разрешения. Вопросов не задавать. Идите и выполняйте.

Клин совершенно неожиданно ощутил над собой власть голоса Бородовского. И так же неожиданно для самого себя подчинился этой власти. Вопросов не задавал, молча поднялся и молча вышел, резко открыв двустворчатую дверь. И сразу же увидел отскочившего в сторону Гурьянова, понял, что тот подслушивал. Строжиться над ним не стал, а громко, чтобы слышал Бородовский, отправил Гурьянова в караул. Сел за стол и долго, сосредоточенно пил чай, обхватив алюминиевую кружку обеими ладонями. С тоской думал: «Угораздило же вляпаться...»

Вечером, поменяв караул возле дома, Клин уснул, как всегда чутко, готовый в любой момент пробудиться от малейшего звука. И посреди ночи он такой звук различил – тонкий, почти неслышный скрип. Приподнял голову, прислушался. За двустворчатыми дверями – неясное шевеление, шорохи. Клин, словно его сдуло с дивана, на котором он спал, в два прыжка оказался у двери, рванул ручку. В темноте, едва видные, возле кровати покачивались неясные тени, и оттуда вдруг донеслось сипенье. «Душат!» – опалило Клина. Он рванулся к теням, ударил кого-то в широкую спину, и тени бросились к дверям. На ощупь Клин нашел подушку, сбросил ее и услышал хриплый, облегченный выдох Бородовского:

– Ы-ы-х!

Клин ухватил его за плечи, вздернул, усаживая на кровати, и ощутил под ладонями, сквозь ткань рубахи, скользкое тело, покрытое испариной.

– Ы-ы-х! – еще раз выдохнул Бородовский. – кто-о-о?

Клин бросился в зал, на ходу выдернул из кармана коробок спичек, который всегда был при нем. Качающийся огонек растолкнул темноту, и в неясном свете Клин увидел: Гурьянов и еще один боец по фамилии Акиньшин, высокий, широкоплечий парнишка, упав на голый пол, старательно делали вид, что спят. Клин запалил вторую спичку, пинками поднял их, и они, глянув на командира, опустили головы. Все было ясно без слов.

Клин нашел лампу, зажег ее и прошел в кабинет. Бородовский все еще не мог отдышаться. Дрожащей рукой он хватался за горло, широко разевал рот и между судорожными вздохами успевал прохрипеть:

– Кто-о-о?

– Не знаю, все спят, – ответил Клин и сразу же понял, что говорить ему этого не следовало – собственный голос выдал вранье.

11

Странный лагерь, обнесенный высоким частоколом, жил по воинскому распорядку. Рано утром на маленькой утоптанной площадке перед крайней избой выстроились в две шеренги человек тридцать – все, как на подбор, молодые ребята примерно девятнадцати-двадцати лет, с сытыми лицами и соловыми, еще не проснувшимися после крепкого сна глазами. Одеты они были кто во что горазд: полушубки, зипуны, военные шинели, бекеши, но все было добротным и теплым. На ногах у всех – катанные из овечьей шерсти валенки.

Дверь избы распахнулась и на улицу, легко перескочив порог, не вышел, а прямо-таки выпрыгнул Василий Иванович Конев. В одной гимнастерке, перетянутой портупеей, с непокрытой головой, он пружинисто прошелся вдоль разношерстного строя, поскрипывая по снегу легкими, щегольскими сапожками, и, круто повернувшись, звонко скомандовал:

– Равняйся! Смирно!

Полушубки, зипуны, военные шинели и бекеши вздрогнули, подтянулись. Василий еще раз внимательно оглядел строй, посверкивая зеленоватыми рысьими глазами, и снова скомандовал:

– Степан, читай утреннюю поверку.

С правого фланга выскочил крепенький, широкоплечий паренек в бекеше, развернул обтерханный по краям лист толстой бумаги и принялся читать:

– Агеенков!

– Я, – отозвался ломкий еще, протяжный голос.

– Бородин! Березуцкий! – частил Степан, словно торопился поскорее добраться до последней фамилии в списке. Добрался. Услышав отзыв от Янина, бодро доложил: – Василий Иваныч, все в наличии, шесть человек в карауле.

– Добро. Теперь читай развод на работы.

Степан сунул список в карман бекеша, из другого кармана достал такой же лист, развернул его и, снова торопясь, не договаривая до конца иные слова, зачитал: чистить конюшню, колоть дрова, откидать снег с внутренней стороны частокола, продолбить подмерзшие проруби на протоке и наносить воды, – множество дел, оказывается, больших и малых, требовалось переделать за короткий зимний день, чтобы лагерь был сытым, помытым и не дрожал от холода.

– Степан, заходи ко мне, – Василий потер ладонью заалевшее на морозе ухо и легко скользнул в избу, крепко пристукнув за собой дверь.

Степан сунул бумажный лист в карман, поправил бекешу, обмел березовым голиком валенки от снега и тоже вошел в избу, запустив впереди себя крутящийся по полу клубок морозного пара. Встал у порога, вытянув руки по швам, готовый выполнить любое приказание.

Но Василий не спешил. Упруго прохаживался от стены до печки, обходя угол стола, молчал и, угнув голову, смотрел себе под ноги, словно опасался запнуться. Наконец остановился, сел на лавку и спросил, не поднимая головы:

– Ты вчера в карауле был, когда этих двоих взяли?

– Я, Василий Иваныч. Я и Семка Сидоркин.

– Как они? Убежать хотели, отпустить просили?

– Да куда там убежать! Они, Василий Иваныч, едва-едва вошкались. Если бы на нас не набрели, протащились бы еще пару верст и замерзли. Видно было, что из последних силенок ползут. А как мы их остановили да тревожный сигнал подали, сели в снег без разговоров и руки в гору – слова не сказали.

– Ладно, веди их сюда. И пожрать чего-нибудь принеси, горячего, да побольше.

Степан молча кивнул, круто развернулся и убежал выполнять приказание, а Василий поднялся с лавки и снова принялся ходить от стены до печки, время от времени встряхивал головой, усмехался и тихо, удивленно бормотал: «Ну, надо же!»

Братья Шалагины, когда их привели в избу, смотрели настороженно, исподлобья. Нетрудно было догадаться, что пребывают они в великой тревоге: что будет дальше и чего ждать от звероватого в движениях бородатого мужика, на котором так ловко и привычно сидела гимнастерка, перехваченная тугой портупеей. А он не торопился, продолжал курсировать между столом и печкой, изредка поворачивая голову и бросая косые взгляды на Шалагиных. Они стояли у порога, не насмеливаясь без приглашения пройти дальше в избу, и вид у них, при ярком дневном свете, был еще более жалким и неприглядным, чем вчера. Щеки и носы обморожены, кожа на них шелушилась, слезая лохмотьями, на полах старых, до дыр истертых полушубков, зияли большущие прорехи, древние валенки на ногах, траченные молью, были прожжены у костра, и из дыр торчали грязные тряпки – в таком виде в самый раз на паперти сидеть и тянуть Лазаря.

Дверь распахнулась, и скорый на ногу Степан, плечом сдвинув братьев с дороги, втащил большой закопченный чугунок, бухнул его посреди стола. Из чугуна поднимался пар и дразнящий запах хорошо уварившегося, упревшего в печке мяса. У братьев Шалагиных одновременно скользнули по шеем, туда-сюда, острые кадыки – так слюну проглатывают безмерно оголодавшие люди при виде или запахе пищи. От цепкого взгляда Василия это не ускользнуло. Он перестал ходить и сел за стол.

– Степан, нарежь хлеба, ложки подай и сходи, скажи, чтобы баню затопили. Ко мне никого не запускай. – Когда за Степаном закрылась дверь, Василий весело подмигнул Шалагиным: – Чего нахохлились, ребята?! Скидывай свои шабуры, садись за стол, пока мясо не остыло. Ешьте до отвала, у нас не по карточкам кормят.

Шалагины махом скинули свои полушубки, присели за стол и дружно запустили ложки в чугунок. Из всех сил, стараясь не уронить себя, они пытались есть неспешно, обстоятельно, но не получалось – обжигались, засовывая большущие куски в рот, толком не прожевав, судорожно глотали, и на лицах у них мелким густым бисером высыпал пот. Василий отщипывал от ломтя хлеба маленькие крошки, жевал их и продолжал цепко наблюдать за братьями, которые скоро уже скребли ложками по дну опустевшего чугуна.

– Наелись, ребята?

– Спасибо. Благодарствуем вам, – вразнойой ответили братья, не в силах сдержать нутряной отрыжки.

– Вот и ладно. И до какого решенья, ребята, вы сегодня ночью договорились? Дальше напропалую врать или правду сказывать?

Братья быстро переглянулись, помолчали, и Ипполит, который выглядел постарше и поуверенней, простуженно кашлянул и хрипло заговорил:

– Позвольте сначала спросить... Конев Василий Иванович – это тот самый знаменитый конокрад Вася-Конь, с которым у нашей сестры случилась в свое время неприглядная история?

– Он самый, вот, перед вами, в натуральном виде.

– А где и когда вы нас видели, что сразу узнали? Мы же не знакомы.

– Вы не знакомы, а я... Очень даже знаком. Но это после. По какой такой причине здесь оказались?

Братья снова быстро переглянулись, и Ипполит, тяжело вздохнув, медленно выговорил:

– Мы договорились ночью... Если вы тот самый Вася-Конь, значит, будем говорить правду. Поверите или не поверите – это уже ваше дело...

...Второй Степной полк, в котором братья Шалагины служили командирами рот, с осени девятнадцатого года не выходил из боев, оставаясь в арьергарде белой армии, которая откатывалась на восток. После падения Омска началось уже настоящее бегство, но полк держался,

отступал в боевом порядке и до подступов к Новониколаевску допятился сохранившейся воинской частью, хотя и в половинном составе. Последний переход, пытаясь выйти к Оби, чтобы по льду перебраться в город, совершали в страшенную падежу, которая даже по сибирским меркам выдавалась совершенно неистовой. На расстоянии вытянутой руки невозможно было различить идущего впереди человека. Общее управление было потеряно, роты и даже отдельные взводы брели всяк сам по себе, не имея никаких, даже мало-мальских, ориентиров, шли уже под конец с единственной целью – чтобы не упасть и не замерзнуть.

Утром, когда непогода утихомирилась, выяснилось, что люди, измотанные до крайнего предела, просто-напросто не могут идти. Никакие приказы на них не действовали. Обламывали редкие кусты, выковыривали сушняк из-под снега, разводили хилые костерки, падали возле них и намертво засыпали. А в полдень, отсекая путь к бегству, выкатилась с флангов партизанская конница на низких мохнатых лошадках, в лоб же пошли густые цепи красноармейцев.

Через четверть часа Второй Степной полк перестал существовать.

Жалкие его остатки были разоружены и ободраны вплоть до ремней и шапок, переодеты в старые валенки, полушубки и зипуны, согнаны в нестройную колонну и направлены к Оби, до которой, оказывается, оставалось-то всего семь-восемь верст. Новониколаевск, как потом узнали, был занят красными накануне.

Братья Шалагины, стараясь держаться друг друга, шли по родному городу, в котором не были несколько лет, и не узнавали его. На всем облике Новониколаевска, на домах и улицах, словно жирная печать проклятья, виделись следы разрухи и безумия войны: человеческие и лошадиные трупы, посеченные пулями оконные стекла домов, перевернутые сани и телеги, броневики, намертво застрявшие в сугробе, кошелки, мешки, узлы, брошенные на заснеженных тротуарах, и поверх одного из таких узлов сиротливо лежала скрипка без футляра, но с целым, исправным смычком, просунутым под струны. Молоденький прапорщик Леонтьев, весельчак и запевала, любимец всех офицеров полка, шедший впереди братьев, вышагнул из колонны, поднял скрипку и, сняв перчатки, провел смычком по струнам. Скрипка отозвалась нежным, чистым голосом.

– Леонтьев, вы с ума сошли?! – попытался остановить его Ипполит.

– Пушай, – милостиво пробасил конвоир, – пушай напоследок потешится. Заводи свою музыку, ваше благородье, надо же кому-то отходную играть!

И Леонтьев заиграл. Печальные звуки, словно их выпевала измученная человеческая душа, взлетели над серой, понуро бредущей колонной, над трупами и сугробами, над холодной, неприятной улицей и властно повели за собой – в иное время, в иные места, где пышно расцветали черемухи и сирени, по-особому страстно пахнущие в вечерний час, где слышался долгожданный шорох девичьего платья, а милый голосок, трепетно звучащий в сумерках, заставлял вздрагивать бесконечное любящее сердце...

Пела скрипка в руках Леонтьева и не желала умолкнуть, торопилась высказать озлобленным людям самое сокровенное, самое высокое, самое нежное, что хоть единожды да испытал живущий на этой земле. Испытал и не забыл, отложив в дальний и укромный уголок душевной памяти. И вот теперь – вспомнил заново.

Не одна слеза навернулась на глазах, застыв на пронзительном морозе крохотной льдинкой.

Скрипка умолкла, когда колонна уперлась в ворота военного городка.

И начался ад, сотворенный людскими руками на отдельно огороженном куске земли. За три недели в просторные, красного кирпича казармы, построенные после японской войны, в пакгаузы, склады и даже в конюшни, натрамбовали десятки тысяч человек. Сразу же вспыхнул тиф и за считанные дни повалил пленное войско.

Гражданское начальство, поставленное новой властью, только и смогло, что ужаснуться, а ужаснувшись, напропалую запило – лишь бы не видеть безудержной, бешеной пляски смерти в каменных громадах, огороженных колючей проволокой и пулеметами.

Офицеры Второго Степного полка старались держаться кучкой, так все-таки легче было выжить: раздобыть кусок хлеба, картофельных очисток или пригоршню прокислой квашеной капусты, удержать за собой место на верхних нарах, где не так лютовал холод, выломать, пока никто не видит, где-нибудь доску потолще, искрошить ее перочинными ножиками и, разведя костерок, на щепочках растопить грязный снег в консервных банках, после, обжигаясь, пить этот кипяток и чувствовать, что ты еще не окончательно перешел в животное состояние, что способен еще испытывать некое подобие радости.

Первым умер Леонтьев, прижимая к груди смычок, потому что саму скрипку давно сожгли; следом за ним отправились в мир иной еще четырех офицеров, и Ипполит с Иннокентием, посоветовавшись, твердо решили – бежать. Хоть на пулеметы.

Осторожно стали заводить разговоры с санитарам – ходили слухи, что за хорошее вознаграждение они помогают выбраться из военного городка. И вот один из них, кривобокий – одно плечо ниже, другое выше, с лицом, испятнанным глубокими выбоинами от оспы, отозвался:

– Вообще-то я могу. Только какой мне резон вас отсюда вызволить? Вот если бы заплатили хорошенько... Золотишко не удалось притырить?

Массивные золотые часы – подарок родителей к совершеннолетию – Иннокентий успел сунуть за ошкур брюк, когда их принялись теребить партизаны, и таким образом сохранил. И вот теперь родительский подарок должен был даровать детям вторую жизнь. Санитар согласился и пообещал не только вывезти из военного городка, но и доставить в дальнее урочище, куда, как он шепнул по секрету, уже немало переправил офицеров и они там живут в потаенных избушках, дожидаясь весны.

Вывез он их поздним вечером, уложив на дно саней, а сверху навалив истертую солому, которую время от времени соскребали с полов и сжигали за оградой. Никто из охраны в этой соломе, кишящей паразитами, ковыряться не стал, они спокойно выехали из военного городка и скоро, переехав Обь, были уже на лесной дороге. Затем свернули с нее, долго петляли по каким-то заячьим тропам и уже поздно утром остановились перед большим увалом, густо затянутым молодым сосняком.

– Дальше мне ходу нету, лошадь с санями завязнет, – санитар передернул кривыми плечами и показал рукой: – Во-о-н, дымок видите? Через увал перейдете, а там и избушки.

Над острыми заснеженными макушками дальних сосен поднимался едва различимый в утренней мгле белесый дымок – такой уютный, домашний, обещавший тепло и, может быть, еду. Иннокентий с Ипполитом бодро двинулись на этот дымок. Санитар между тем засунув часы глубоко за пазуху, ловко развернул свою лошаденку, понужнул ее и поехал по свежему следу в обратный путь.

Одолев заносы у подножья увала, до того глубокие, что по ним пришлось едва ли не плыть, они кое-как выбрались на гребень и стали спускаться вниз – дым над соснами виделся отсюда уже совершенно четко. Братья быстрее побрели по снегу, миновали ельник, который расступался и становился все реже, указывая, что впереди должна быть поляна. И тут, словно кто невидимый его в бок толкнул, Ипполит остановился: что-то насторожило, он не мог понять – что, но чувство тревоги, давно знакомое ему по войне, горячей змейкой проползло меж лопаток. Он сделал рукой упреждающий знак Иннокентию и дальше пополз, зарываясь в снег по самые ноздри. Впереди действительно оказалась небольшая поляна, посредине которой горел костер, а возле костра сидели два мужика, и у каждого на коленях лежало по кавалерийскому карабину. Мужики лениво переговаривались, и голоса их хорошо слышались в утреннем морозном воздухе – до последнего слова:

– Идти надо, засиделись мы, уже подвез поди...

– Неохота грести по снегу, может, тут, в ельничке присядем да и стрелим бедолагу. Второй день нам не везет, все пустые попадаются.

– Зато в среду какой важный гусь вывалился – в два слоя подошвы у сапогов червонцами были выложены. И до какой только хитрости не дойдет человек, когда ему богатство притаить требуется.

– Да, тут уж он краев не ведает. Ну, пошли.

– погоди, я портянку переобую – с ноги сползла, и пятка голая...

Ипполит, не поднимая головы, задом пополз обратно. Чертов санитар, скотина кривая, чуть-чуть ведь не подвел под выстрел. Не требовалось большого ума и особой догадливости, чтобы понять нехитрую и жуткую придумку рябого санитара. Он соглашался вывезти из военного городка только тех, кто готов был расплатиться золотом, забирал себе какую-нибудь вещицу или кольцо, но при этом надеялся и, как видно, не ошибался: значит, что-то еще припрятано в одежде или в обуви. Привозил поверивших в свое спасение людей сюда, в глушь, где никто ничего не услышит и не узнает, показывал дымок и отправлял несчастных прямо под выстрелы кавалерийских карабинов.

По-пластунски, зарываясь головами в снег, как они и под пулями не ползали, братья скрылись в ельнике, а там, вскочив на ноги, бросились бежать – до полного изнеможения, пока не упали, обессиленные, под кряжистым кедром. Отдышались, поднялись, кое-как сориентировались по солнцу и побрели напрямик, с таким расчетом, чтобы выйти к Оби. Шли весь день, шли и ночью, боясь устраивать долгие привалы, чтобы не заснуть, шли, пока не наткнулись на секретный пост, которому и сдались, послушно вздернув вверх руки...

Василий слушал рассказ Ипполита, не перебив его ни единым словом, глаза его светились обычным зеленоватым блеском, и невозможно было догадаться – верит он или не верит. Ипполит водил ложкой по столешнице и вырисовывал ею невидимые, мудреные вензеля.

Василий поднялся из-за стола и снова принялся топтать найденную дорожку – от печки к стене. Братья Шалагины, наблюдая за ним, тоже хранили молчание.

В избе зависла тягучая тишина, нарушаемая только вкрадчивым, едва различимым скрипом шегольских сапожек.

Внезапно Василий остановился и развел руками:

– Прямо вам, ребята, скажу: не знаю! Верить вам или не верить... Время нынче такое, что слова никакого весу не имеют, их, слов этих, столько много наплодили нынче, что они столбами стоят, как мошкара, и ни одно рукой не поймаешь. Ладно, поверю я вам. Теперь про главное, про Антонину Сергеевну рассказывайте.

И точно так же, как вчера, Василий замер в ожидании ответа.

– Про Тонечку пусть Иннокентий рассказывает, он ее в последний раз видел.

– Где?

– На омском вокзале. Я тогда с фронта приехал, командир полка отправил, боеприпасы из нашего тылового ведомства выколачивать. Иду по перрону, а навстречу – она, Тонечка. Бросилась на шею, плачет, смеется... Да только времени у нас не было, минуты две всего и поговорили – у нее поезд уже под парами стоял. Она, оказывается, по какому-то интендантскому ведомству служила, и отбывали они в Иркутске, как Тонечка сказала. Вот и все... Обнялись еще раз, расцеловались, только я ее из вагонного окна и видел...

– А какой она... стала?

– Красавица. Расцвела – настоящая красавица.

– Вот, значит, как... И никаких сведений о ней, никаких следов?

– Нет. Мы не знаем.

– А супруг? Где он теперь пребывает?

– Так они же расстались, еще в пятнадцатом году. Тихо-мирно разъехались, а вскоре Тонечка на фронт отправилась, сестрой милосердия.

– Богатая свадьба была... Зря, выходит, деньги потратили.

– Вы что, были на свадьбе?

– Был, был, только мед-пиво не пил. К слову сказать, там я вас, ребята, и видел. Ну, все, поговорили, потолковали, ступайте в баню париться. Дальше ясно станет, от какой печки плясать будем.

Братья ушли. Василий, оставшись один, прилег на топчан, кинул руки за голову и вдруг выдохнул с тоской, на полную грудь:

– Барышня моя милая, Тонечка, да почему ж мы с тобой такие невезучие!

И ощутил на губах сладкий ожог давнего, самого первого поцелуя.

Глава вторая. У церкви стояла карета

*У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба прошла.
Все гости нарядно одеты,
Невеста всех краше была.*

*На ней было белое платье,
Венок был приколот из роз,
Она на святое распятие
Смотрела сквозь радугу слез.*

(Из старинного романа)

1

В этот день, сверкающий от обломного весеннего солнца и бездонного голубого неба, острые рысьи глаза Васи-Коня словно переродились и разучились в краткое мгновение различать все цвета кроме одного – черного. Черная лежала перед ним степь, черным был последний вагон убегающего к горизонту поезда, и черные птицы шли косяками над его головой, которую он уронил безвольно на раскосмаченную гриву запаленной долгой скачкой лошади.

Тянулся над землей свежий ветерок, шуршал сухим прошлогодним будылем, шевелил вороную гриву и набрасывал жесткие волосы на лицо всадника.

Вася-Конь шевельнулся, поднимая голову, и боль в раненой ноге полохнула так нестерпимо, что он невольно охнул. Лошадка поняла его голос по-своему: развернулась и двинулась неторопким шагом в обратную сторону – к серым окраинным домишкам Барабинска.

В одном из таких домишек Вася-Конь договорился с хозяевами о постое за небольшую плату, доковылял кое-как до деревянной кровати и пролежал на ней, поднимаясь лишь по нужде, целую неделю. Почти не ел, спал урывками и все смотрел, повернувшись на бок, в стену, расковыривая ногтем толстый набел известки.

Через неделю хозяева отказали ему в постое и отказ свой объяснили просто и немудрено:

– Извиняй, парень, но сдается нам, будто ты не в своем уме. У нас тут был один – молчал, молчал, а после топор схватил и давай буянить. Езжай-ка ты от греха подальше, мы и коляску твою наладили, прикатали – езжай, парень.

И он поехал.

Поначалу даже сам не знал – куда и к кому. Просто катил по сухой дороге, оперев взгляд в днище коляски, и даже по сторонам не оглядывался.

Ночь застала его в дороге. Он лежал в коляске, под звездным небом, слышал, как вздыхает рядом расседланная лошадь, и никак не мог избавиться от пугающей его самой мысли – ему казалось, что он прожил длинную-длинную жизнь и что он старый-старый старик, у которого впереди уже ничего не будет, кроме смерти.

Но живое тянется к живому.

Утром поднялось солнце, запели, засвистели на разные голоса птицы, и лошадь, отзываясь на эти голоса, вдруг рывком задрала голову и заржала – радостно, громко, словно хотела что-то высказать сокровенное своему печальному хозяину.

И хозяин услышал. Вылез из коляски, прихрамывая, подошел к лошади, обнял руками за шею, уткнул лицо в гриву и тихо, стыдливо заплакал, как плачут незаслуженно обиженные ребяташки. А после утер жестким волосом слезы и принялся заводить лошадь в оглобли.

Дальше его путь был уже прямым и четким – на Алтай.

В предгорье, в огромной долине, полого спускающейся к говорливой Катунь, лежали владения богатеющего скотопромышленника Прокопа Савельича Багарова: выпаса, сенокосы, пасеки и загоны для бесчисленных гуртов скота и конских табунов. А на въезде в долину, на веселом взгорке, стоял большущий, в два этажа, дом самого Багарова, а дальше за домом, словно большая деревня, тянулись избы для работников, амбары, конюшни, пимокатня, кузница, маслобойка, – все, что требовалось для простой и сытой жизни, здесь делали на месте и своими руками.

«Пойди да купи – дело нехитрое, большого ума не требует, – любил повторять Багаров, – а вот ты сам изладь да и пользуйся. Да так изладь, чтоб твоей вещичке век сносу не было». И улыбался умильной улыбочкой, такой сладенькой, словно теплого сотового меда отведал.

Был Багаров высокого роста, с могучим разворотом плеч, с мощными, сильными руками, но портили богатырское обличье маленькая головка, тощая борода и тонкий бабий голосок, которым он говорил негромко и нараспев. И всегда, даже если сердился, – ласково. Черного слова от него никто не слышал. Если уж сильно допекут работники нерадивостью или компаньоны своей несговорчивостью, бросит в сердцах: «Пятнай ты мухи!», но при этом все равно сладенько улыбается.

Вася-Конь подогнал коляску к высокому резному крыльцу, осторожно спустился на землю и, опираясь на палочку, дохромал до крыльца, присел на нижнюю ступеньку, вытянув раненую ногу. Из дома, увидев его, ловко скатился по крутой лестнице молодой работник, строго взялся допрашивать: откуда прибыл и по какой надобности?

– Ты меня не пытай. Что про меня знать надобно, хозяину все известно. Ступай и доложи: Вася-Конь приехал.

Парень скосоротился, всем своим видом показывая неудовольствие, но по лестнице, – слышно было, – поднялся скорым лётком. И вот уже застукали тяжелые шаги, зашкрипели под крупным телом толстые ступени, и сам Багаров выбрался на крыльцо, радушно раскинув свои ручищи:

– Да это кто же пожаловал к нам, да каким попутным ветром занесло дорогого гостя! – выпевал он тонким голоском.

И притопывал ножищами от радости, будто ему пятки жгло.

Радовался Багаров совершенно искренне: ему позарез нужен был хороший табунщик, знающий толк в лошадином деле. Потому он и обхаживал Васю-Коня, словно несговорчивую невесту: баня была натоплена, старуха-лекарка, чтобы раненую ногу попользовала, доставлена, богатое угощение выставлено – все для тебя, гость задушевный!

За крепкой медовухой засиделись они допоздна, полюбовно обо всем договорились и спать отправились, очень друг другом довольные. Багаров ни о чем Васю-Коня не спрашивал, не допытывался, где тот ранения получил, – умный был мужик, чуткий, понимал, что всему свой срок и свое время.

Снадобья старухи-лекарки оказались чудо как полезительны, в скором времени Вася-Конь, как и раньше, ласточкой взлетал в седло и гарцевал на злом рыжем жеребце, подаренном Багаровым, лихо и отчаянно. Под началом у него было пять молодых ребят, которых он держал в строгости и обучал непростому ремеслу гонять конские табуны. Первый они погнали в Монголию уже через месяц. Намучились по самые ноздри, потому что постоянно гремели грозы, кони волновались, готовые со страху сорваться с места и броситься очертя головы куда угодно. В такую погоду табунщикам ни спать, ни отдыхать нельзя – крутись в седле круглыми

сутками и на жизнь не жалуйся. Вот и крутились. В Монголию лошадок пригнали по ровному счету, ни единой в дальней дороге не потеряли.

Багаров после их благополучного возвращения рад был безмерно и воспылал к Васе-Коню особой любовью, только что на божничку не усаживал. И все чаще, напевая-наговаривая бабьим своим голоском, заводил разговоры о семейной жизни да о том, насколько хороши у него девки-работницы, прямо яблоки наливные, укуси – сок брызнет. Вася-Конь поначалу на эти разговоры отшучивался, смеялся, что женилка еще не выросла, но когда Багаров по особому настойчиво принялся его сватать за одну из красавиц, он ему прямо сказал:

– Прокоп Савельич, не буду я жениться. И тень на плетень наводить тоже никакой нужды не имеется. Извиняй, но все твои хлопоты белыми нитками шиты. Ты ведь как мыслишь: оженю работника, привяжу его покрепче, как бычка на веревочку, он от меня никуда и не денется.

– Ну, ты и ушлый, парень, на два аршина под землю зришь, – запел, разводя ручищами Багаров, – все верно сказывашь, только одно возьми в понятие: для твоей же пользы стараюсь, чтобы жизнь у тебя в радость складывалась.

– Благодарствую за заботу, Прокоп Савельич, только я тебе обещаться на годы никак не могу. Я человек вольный, дунет завтра ветер, я и отлечу, как птичка.

– А позволь тогда, парень, поинтересоваться, – не унимался Прокоп Савельич, – какая такая змея подколотная тебя укусила, что ты от бабьих подолов нос воротишь?

– Да уж такая... укусила. Будет надобность, я тебе расскажу на досуге. А теперь оставь, Прокоп Савельич, не обессудь, не отболело еще, до сих пор саднит.

– Ну и ладно, – легко согласился Багаров, – пытаться не буду, захочешь – сам поведает. На том и поладили.

И жизнь покатила дальше своим чередом.

Во второй половине зимы, когда завывали метели и намертво закрыли горные перевалы, так что ни о каких перегонах скота или конских табунов и речи не могло быть, Багаров, пользуясь передышкой в хозяйственных заботах, собрался по своим торговым делам ехать в Новониколаевск. Вася-Конь, услышав об этой новости, встрепнулся и несколько дней ходил, словно подстреленный – все думал о чем-то, да так крепко, что не отзывался, когда его окликали. За два дня до отъезда хозяина он явился к нему и выложил:

– Прокоп Савельич, возьми меня с собой, нужда у меня есть в Николаевск съездить.

– И чего так приспичило? – удивился Багаров.

– Да вот, приспичило...

И Вася-Конь в тот вечер рассказал Прокопу Савельичу всю свою печальную историю. А еще рассказал, как он ее дальше собирается продолжить.

Багаров только головой покачивал, слушая его, а выслушав до конца, изрек, будто печать поставил:

– Баловство это, Василей, дурь, самая распоследняя, плюнь и разотри пошире!

– Тогда давай расчет, Прокоп Савельич. Я решил. А коль я решил, меня никто не попятит.

Долго еще уговаривал Багаров своего строптивного табунщика, да толку в стенку горох кидать – отскакивает со стуком.

И Багаров, выдохшись, согласился:

– Ладно, парень, пусть по-твоему будет. Добуду я в Николаевске адрес крали твоей, а летом я в Москву еду. Возьму с собой. А пока тут оставайся.

– Не обмани, Прокоп Савельич.

– Купеческое слово даю.

Слово свое Багаров сдержал. Привез из Новониколаевска московский адрес Тонечки и доложил, что проживает она теперь вместе со старшими братьями.

В конце июля Прокоп Савельич и Вася-Конь тронулись в первопрестольную.

2

– А в гостиницах тут у них, в Москве, одно баловство и шансонетки, я там сроду не останавливаюсь, мило дело – у Кирьяна Иваныча: тихо, пристойно, и семейство самое приличное. Трогай, голубчик, – Прокоп Савельич обтер платком потное свое личико и откинулся на кожаном сиденье московского лихача, которому он велел ехать с Ярославского вокзала в Замоскворечье, где проживал давний его компаньон и друг, первой гильдии купец Кирьян Иваныч Воротников. Вася-Конь присоседился в пролетке рядом с хозяином и во все стороны крутил головой – чудно!

Такого многолюдства и такой спешки он отродясь не видывал. Лихачи летят, торговцы кричат, все бегут куда-то, как угорелые, а вывески магазинные лепятся одна к другой, да так тесно, что на иных домах свободного места не имеется – сплошная торговля. Да это сколько же народу с деньгами надобно, чтобы хоть чего-нибудь купили?!

Но вот и тихое Замоскворечье, где ни шуму, ни крику, где все благостно и размеренно. Высокие заборы, сады, большие, просторные дома, а по обочинам улицы – как в деревне, зеленая травка, и на ней в иных местах пасутся куры. Дом у Кирьяна Иваныча стоит в глубине, скрытый высокими липами, глухие ворота раскрыты настежь, а к дому ведет дорожка, покрытая чистым речным песком. В воротах дежурит кудрявый парень в алой рубахе, видно работник, которому приказали дожидаться гостей. Парень кидается к пролетке, помогает снять чемоданы, тащит их в дом и на ходу бойким московским говорком докладывает, что хозяин давно ждет дорогого гостя, что сегодня и обед отложили до его прибытия... А вот и сам хозяин, седенький старичок, ловко и по-молодому спрыгивает с крыльца, через две ступеньки, и спешит навстречу, по-птичьи прискакивая на каждом шаге.

Обнялись, расцеловались троекратно старые дружки и вошли в дом. Парень в алой рубахе тоже утащился следом за ними вместе с чемоданами.

Вася-Конь не насмелился идти с хозяином и остался возле крыльца – один. Стоял, оглядывал ладное, по-хозяйски прибранное подворье и ощущал в груди тонкий холодок: что-то будет впереди, и удастся ли ему осуществить задуманное, ту самую, сладкую и желанную мечту, которую выносил он долгими ночами в алтайском предгорье?

И надеялся: выгорит дело!

– А вы, милостивый государь, чего тут встали? У крыльца и ночевать будете? – парень в алой рубахе улыбался хитро, с прищуром, и говорок свой бойкий сыпал без остановки. – Меня Филькой зовут, пойдем, я тебя на постой определю. Дружки наши теперь до ночи обедать сядут и разговоры разговаривать, а после, когда наливочки нахлебаются, петь изволят – это уж до утра. А утречком – только рассветет, они еще поплачут на плечиках друг у дружки, в вечной дружбе поклянутся и почивать отправятся. А может, и не отправятся, может, баню велят топить. Так что, милостивый государь, до обеда вас никто тревожить не посмеет. А тебя-то как зовут?

– Василий я.

– Пошли тогда, Василий, вон во флигель, там наши хоромы!

Во флигеле было чисто, опрятно и прохладно. Филька показал Васе-Коню на свободный топчан, сказал, что скоро они тоже обедать будут, а сам снова убежал в дом. Вернулся не скоро. По-прежнему хитровато улыбался и прищуривался. Сообщил:

– Веселенькие уже. Тебя зовут, пойдем.

За богато накрытым столом два друга сидели размякшие и действительно веселые.

– Вот он, мой Василей! – сразу запел тонким голоском Багаров. – Вот она, моя надежда! По всему Алтаю нету такого табунщика! И как я ему отказать могу в просьбе? А? Скажи, Кирьян Иваныч, могу я такому молодцу отказать?!

– Нет, Прокоп Савельич, отказать ты ему никак не можешь! И я не откажу! Филька, скажи стряпухе, чтобы кормили с моего стола, скажи – хозяин велел. А завтра... Завтра пролеточку вычистишь, до блеска вычистишь, Орлика запряжешь и свозишь парня, куда он тебя попросит. На весь день отпускаю – вот мой хлеб да соль для дорогих людей. А теперь сгиньте с глаз, не мешайте мне с Прокоп Савельичем встрече радоваться!

Едва-едва дождался Вася-Конь утра. Раза три просыпался посреди ночи, ошалело подскакивая на мягком топчане, а когда брызнул летний рассвет, он уже был не в силах сдержать себя, оделся и вышел из флигеля на просторный двор, накрытый блескучей и густой росой. Поднималось, просвечивая сквозь ветви высоких лип, молодое солнце. Где-то далеко на улице слышались негромкие голоса и звон колокольцев. И столько во всем, что слышалось и виделось, было свежей бодрости, что показалось Васе-Коню: он все сможет. Не было для него сейчас никакой преграды, которую бы не одолел. От силы, переполнявшей его до самых краев, вдруг неожиданно вырвался удалой вскрик:

– Э-э-х!

И руки, сжатые в кулаки, вскинул над головой.

3

Весело бежал Орлик, постукивала колесами по булыжной мостовой легонькая пролетка, скалился и весело хохотал безо всякой причины Филька, оборачиваясь назад и покрикивая Васе-Коню:

– Ну и как тебе наша матушка?! Не чета выселкам твоим сибирским?! Погоди, на Тверскую выкатим – рот раззявишь и кишки простудишь! Такого сроду не видывал!

Играла на нем от встречного ветерка и переливалась под солнцем разными оттенками алая рубаха, перехваченная шелковым пояском.

Вася-Конь ничего ему не отвечал и по сторонам, как вчера, не оглядывался и не удивлялся. Не трогала его сегодня яркая и шумная Москва: ни многолюдьем своим, ни домами, ни обилием магазинов и трактиров – все проскакивало мимо глаз сплошным разноцветным пятном, где все так круто перемешалось, что и разобрать толком ничего было нельзя. Да и не было у Васи-Коня никакого желания разбирать, он теперь совсем об ином думал, и думы эти так захватывали его, без остатка, что он даже глаза прижимуривал, чтобы ни на какое иное дело не отвлекаться.

Прокатались по Тверской, свернули, и вот она – Новослободская. Осталось только нужный дом найти.

– Погоди, – остановил Фильку Вася-Конь, – погоди, придержи Орлика.

– А чего годить? Годить – не родить, можно и переехать! – хохотал Филька и поигрывал кнутом.

– Стой! Кому сказал! – сурово прикрикнул Вася-Конь.

Филька удивленно оглянулся и Орлика придержал.

Вася-Конь распоясал брючный ремень и сунул обе руки в штаны, где у него был пришит с внутренней стороны потайной карман, в котором лежали все деньги, заработанные у Багарова за долгий год нелегкой работы. Не считая их, Вася-Конь разделил пачку ассигнаций на две части. Одну часть засунул на прежнее место и снова затянул ремень, а другую протянул Фильке:

– Держи. Это тебе.

Лицо у Фильки вытянулось от удивления, и от удивления же он вдруг простодушно признался:

– А я подумал... обмочился ты по малой нужде...

– Сам не обмочись! Держи.

– А за какие такие заслуги, милостивый государь, вы меня порадовать решили?

– За красную рубаху, – усмехнулся Вася-Конь. – Да еще за то, что скалишься, как дурачок на Пасху. Держи, пока даю. И даю я их тебе не просто так: помощник мне нужен. Боюсь, один не справлюсь.

– А в чем помогать-то, разрешите поинтересоваться? Свечку подержать, когда вы, милостивый государь, со своей кралей...

– Ну, ты! Рот прикрой! Увезти мне ее надо!

– Э, погоди, брат Василий! – Филька подобрал вожжи и заерзал на гладком облучке. – Твой-то моему как толковал? Я же своими ушами слышал: «Желает парень на свою кралю поглядеть, словцом перекинуться...» И все! Выходит, обманывал?!

– Не обманывал. Я ему про то, что на самом деле задумал, ни слова не говорил. Про себя держал. Ты первый услышал. Так берешь деньги или нет? Поможешь?

Филька посерьезнел, дурашливая улыбка исчезла, и он задумался, а затем, будто вслух размышляя, заговорил:

– Если моему старику не понравится, что мы девку умыкнем, он меня со двора в два счета вышибет. Ладно, распоясывай штаны, заberi свои деньги и спрячь. Добудем твою кралю – там видно станет. Ну, поехали, женишок?! – и Филька снова дурашливо оскалился.

Доходный дом, который был указан в адресе, добытом Багаровым, нашли они довольно быстро. Трехэтажный длинный особняк, выставив на улицу парадный подъезд, дальше уходил, пряча свои обшарпанные стены среди зелени деревьев, в глубь двора. Возле парадного выстроились вдоль тротуара экипажи, коляски, пролетки, иные из них украшены были праздничными лентами и убраны цветами. Суетились нарядно одетые господа и дамы, поглядывали на двери, возле которых несли караул два швейцара в ливреях, толстые и усатые.

Нехорошее предчувствие кольнуло Васю-Коня. Он выпрыгнул из пролетки, но Филька на него строго шикнул:

– Залезай обратно! Держи вожжи. Я сам разужнаю. Жалко зеркальца нету, показал бы рожу твою – в самый раз народ пугать.

Филька всунул ему вожжи в руки, расправил рубаху под шелковым пояском и легкой, вихляющейся походкой направился к праздничной толпе. Вася-Конь смотрел на него, не отводя глаз. Скоро Филька вернулся, цвиркнул слюной себе под ноги и огорошил:

– Опоздал ты, брат Василий! Долго ехал! Господин Шалагин, купец из Сибири, дочку свою замуж выдает нынче. Вот жених подъедет сейчас и в церковь отправятся, на венчанье. Чего делать станем? Может, домой тронемся?

И снова, как в памятный весенний день под Барабинском, мир для Васи-Коня окрасился в черный цвет. Пестрые ленты на разрисованных дугах, экипажи и пролетки, нарядные гости, зелень высоких лип и даже швейцары в своих ливреях с позолоченными позументами – все было аспидно-черным, без единой светлой полоски. Он встряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение, но мир, окружающий его, не изменил своего цвета. Вася-Конь теребил вожжи в руках и беспомощно озирался, словно заблудился в непроходимом лесу и теперь никак не мог отыскать примету, которая указала бы верный путь.

Филька осторожно отобрал у него вожжи, вскочил в пролетку и понужнул Орлика:

– Нн-о! Трогай, любезный! Тут нам киселя не наварили!

– Стой! – Вася-Конь, словно очнувшись, схватил его за плечо. – Стой на месте!

– Ну, стою, – добродушно согласился Филька. – Стою, приказаний жду. Чего изволите, милостивый сударь?

– Стой. Следом поедем!

Ждать пришлось недолго. В скором времени подкатила богато украшенная тройка: кони, как на подбор, белые. Гости столпились, зашумели, швейцары распахнули двери парадного подъезда настежь, и оттуда, из полутемной глубины, вышла Тонечка. По бокам, сопровождая ее и поддерживая, шли братья, за ними – Сергей Ипполитович и Любовь Алексеевна. Лицо Тонечки было закрыто фатой, и Вася-Конь не мог ее разглядеть, только видел, что чуть заметно вздрагивает рука в белой перчатке – милая, ласковая рука с тонкими прохладными пальчиками. Он помнил их, каждый ноготок...

Из подъехавшей тройки спустился жених. На нем был черный фрак, и полы его откидывались на стороны от свежего ветерка, придавая высокой стройной фигуре птичью легкость. Вот он приблизился к Тонечке, братья сдали ему с рук на руки сестру, и молодых тут же заслонила толпа гостей, замелькали пышные букеты – все смешалось в громком и неразборчивом шуме.

Вася-Конь изо всей силы зажмурил глаза, чтобы ничего не видеть, но в тот же момент снова их распахнул: молодые уже садились в пролетку, чернобородый кучер в просторной рубахе синего атласа замер в нетерпении, натягивая вожжи и поигрывая кнутом, чтобы пустить во весь мах белую тройку.

И пустил, когда приказали ему.

Словно белые лебеди, вымахнули кони, пластаясь в стремительном беге вдоль улицы и увлекая следом за собой весь яркий и шумный свадебный поезд.

Будто нестерпимо горькую отраву, пил, не отрываясь, Вася-Конь, глядя во все глаза на чужое веселье.

Филька пристроил Орлика в самый конец свадебного поезда, и они доехали вместе со всеми до церкви, которая посылала с высокой, золотом светящейся колокольни веселый праздничный перезвон. Играли, плыли, кружились медные звуки в солнечном свете нежаркого летнего дня. Трепетала под свежим ветерком листва деревьев, и скромные голубенькие цветочки, посаженные вдоль церковной ограды, раскачивали нежными своими головками, дотрагиваясь друг до друга.

Вася-Конь поднялся на высокое крыльцо, протолкался сквозь густую толпу в церковь; поднимаясь на цыпочки, выглядывая из-за дамских шляпок, он наконец-то увидел Тонечку, ее широко распахнутые глаза – она была словно чем-то напугана, и взгляд ее, незряче устремленный в толпу, ничего не выражал, кроме того же испуга. Старый седой священник читал молитву, обводил молодых вокруг аналая, певчие на хорах слаженными голосами наполняли пространство купола до самого верха – долго, очень долго длились торжественные минуты, и казалось, что службе этой никогда не будет конца. Вася-Конь продолжал смотреть на Тонечку, старался поймать ее взгляд, но вдруг ему показалось, что если сейчас она увидит его среди гостей, то напугается еще больше. И тогда он круто развернулся, наступил кому-то на ногу и вышел на улицу, не слушая несущегося ему вослед глухого шиканья.

И дальше за всем происходящим он снова наблюдал из пролетки, словно продолжал пить отраву.

После венчания свадебный поезд тронулся в обратном направлении – к доходному дому на Новослободской, где родители встречали молодых с хлебом и солью и благословляли иконой Богородицы в богатом золотом окладе.

Скоро из дома донеслась веселая музыка – оркестр играл не умолкая.

И все это время Вася-Конь, не слушая ворчания Фильки и не отвечая на его вопросы, просидел в пролетке, словно был прикован к сиденью.

Стемнело. Дом осветился огнями.

– Ночевать станем или как? – Филька широко и протяжно зевнул. – На пустой живот цыгане приснятся – с утра во рту маковой росинки не было. Слышь, милостивый государь, может, нам со свадебного стола кусочек вынесут, ты бы похлопотал...

– Не помрешь, – пробормотал Вася-Конь и начал стаскивать с себя сапоги. Стащил, размотал портянки и босым выпрыгнул из пролетки на теплую еще мостовую. – Давай теперь в объезд, вон сбоку видишь балкончик? – прямо под него подъезжай.

– Да ты очумел?

– Трогай!

Сам Вася-Конь легким, скользящим шагом, хоронясь в тени лип, обогнул дом, заходя с правой глухой стороны, где сразу за углом был балкон, совсем невысоко над землей. Мимо балкона спускалась до самой земли водосточная труба, нагретая за день на солнце. Вася-Конь ухватился за нее, подтянулся, пробуя на прочность, полез вверх, каралькой сгибая босые ноги и прижимаясь подошвами к скользкому железу. Поднялся до уровня балкона, перелез на него и, присев, осторожно глянул вниз. Филька пролетку подогнал точно под балкон, прыгнуть на нее с небольшой высоты – плевое дело. А там... Орлика подстегнул, и – поминай, как звали!

Створки балкона изнутри оказались не заперты, и, когда Вася-Конь легонько на них надавил, они бесшумно распахнулись, вздыбив парусами длинные шелковые занавески, и пропустили в небольшую комнату, тесно заставленную старой мебелью – шкафчиками, резными столиками, диванчиками, разного размера стульями и стульчиками. В полутьме, стараясь ничего не опрокинуть, Вася-Конь отыскал дверь, которая, на счастье, тоже оказалась не запертой.

Осторожно выглянул. Перед ним был пустой коридор, заканчивающийся лестницей, и оттуда, куда спускалась лестница, неслись голоса, музыка и чей-то громкий хмельной голос вскрикивал:

– Господа! Господа! Нет, вы послушайте, господа!

В ответ ему дружно смеялись и слушать почему-то не желали.

Вася-Конь бесшумно скользнул по коридору, перегнулся через перила лестницы. Внизу, в просторном зале, стояли длинные столы, стояли они полукругом, а в самом центре, ближе к лестнице, сидели молодые.

Теперь требовалось только ждать, когда жених и невеста станут подниматься по лестнице. Что подниматься они будут непременно, Вася-Конь догадался, увидев внизу девушку в переднике, которая торопливо подметала ковровую дорожку и расставляла по правой стороне лестницы вазы с цветами.

План у Васи-Коня созрел простой и отчаянный – до безумия: выдернуть Тонечку из рук жениха, когда они окажутся напротив дверей, ведущих в пустую комнату; дверь закрыть и прыгать с балкона вместе с бесценной добычей в руках.

Он дождался.

В чуть приоткрытую створку увидел: Тонечка с женихом идут по пустому коридору, а в отдалении от них, где-то возле лестницы, толпятся родители, гости; вздымают бокалы, выпивают и грохают хрустальную посуду об пол. А оркестр в зале играл-заливался на все лады.

И никто не расслышал в общем гаме легкий скрип дверной створки, удивленный стон жениха, медленно сползающего по стене с вытаращенными глазами и короткий вскрик Тонечки, подхваченной на крепкие руки.

В комнате он лишь на секунду выпустил из рук Тонечку, успев ей шепнуть:

– Не бойся, это я...

Створки дверей – на защелки, в блестящие ручки дверей – толстую резную ножку стула. И, кругнувшись, снова подхватил Тонечку, выскочил с ней на балкон, и тут его будто ударили по ногам: чужой, неродной голос властно потребовал:

– Отпусти!

Да разве может быть такой голос у Тонечки?! Да нет же! Нет! Но в подтверждение, сквозь зубы, чуть хрипловато и с нескрываемой злостью:

– Отпусти!

И Вася-Конь, готовый уже перелететь через перила балкона, растерянно отпустил, осторожно поставил ее перед собой, оберегая двумя руками, как хрупкую вазу, выдохнул:

– Тонечка, это же я, Василий...

А в ответ ему – неумелая, без размаха, пощечина, и снова, сквозь зубы, со злостью и хрипловато:

– Уходи! Не могу тебя видеть! Ты жизнь, всю мою жизнь... Ненавижу!

Створки дверей в комнату трещали под ударами и ходили ходуном; внизу, под балконом, слышались крики и возня, взвизывал отчаянный вскрик Фильки:

– Да прыгай! Не управлюсь я!

И в довершение, перекрывая все звуки, рассыпался длинный свисток городского.

Вася-Конь ничего не слышал – в ушах у него звучал только чужой голос, который – он даже не разумом, а нутром это почуял – налит был до краев неподдельной ненавистью.

Такую ненависть в одночасье не погасишь. Да и какое там одночасье, когда уже с треском отлетела одна из створок двери и какой-то растрепанный господин с десертным ножиком в руке вломился в комнату.

Вася-Конь перемахнул перила балкона и рухнул в пролетку, в которой Филька отчаянно отбивался от наседавших на него двух швейцаров. Не глядя, наугад, Вася-Конь в несколько ударов выстелил их на землю, и освободившийся Филька схватил вожжи, по-медвежьи рявкнул

на Орлика, и тот с бешеной силой дернул пролетку, так что оба они не удержались и повалились на днище. Но тут же вскочили и увидели бегущего наперерез городского, который продолжал надрываться, не выпуская изо рта свисток. Филька даже вожжу не натянул, чтобы направить Орлика в сторону, и городской отпрянул от коня, несущегося прямо на него, выплюнул свисток, судорожными рывками стал выдергивать пашку из ножен, совершенно забыв о нагане, шнур от которого путался в эфесе пашки.

Орлик махнул мимо него, как привидение. Вослед запоздало стукнул негромкий выстрел.

Петляя по темным переулкам и поднимая за собой лай собак, в конце концов выехали они на какую-то улицу, освещенную фонарями, и Вася-Конь, нашарив сапоги, натянул их прямо на босые ноги, а Филька коротко хохотнул:

– Рожу-то мне мужики с позументами в хлебово расхлестали. Ох, и достанется завтра от Кирьяна Иваныча на закуску! Ты-то хоть живой, государь милостивый?!

Вася-Конь не отозвался.

Намертво сцепив руки в замок, он покачивался на мягком сиденье в пролетке, вскидывал время от времени голову и смотрел в высокое московское небо – там, на сплошном черном пологе, не маячило для него даже махонькой тусклой звездочки.

4

За позднее возвращение, за побитую морду и порванную новую рубаху, а пуще всего за то, что Орлик был весь в мыле, когда въехали в воротниковскую ограду, Кирьян Иваныч хотел в сердцах отставить Фильку от нетяжелой кучерской службы, ругался и даже отвесил ему подзатыльник, но за парня вступился Багаров и резонно посоветовал сначала выслушать – по какой такой причине явились молодцы в столь растрепанном виде.

Филька вытаращил безукоризненно честные глаза, сияющие первозданной голубизной, и бойкой скороговоркой стал рассказывать мгновенно придуманную им страшную историю: возвращались они, верно, поздновато, и он, Филька, чтобы скоротать путь, решил проехать через темный переулок, где на них и навалилась лихая шайка, числом не менее как шести – восьми душ – не до счету было. Орлика – за узду, кинулись к пролетке, чтобы вытряхнуть из нее кучера вместе с седоком, да не на тех напали. Василий, оказывается, такой боец отчаянный – сразу троих уложил одним махом. Дальше уж кулаков не жалели, отбиваясь изо всех сил. И отбились. А чтобы в другом месте не перехватили их, пришлось погонять Орлика что есть мочи, потому как нападавшие грозились вослед, что все равно их догонят.

– Прямо Илья Муромец с Ерусланом – всех одолели! – усмехнулся Кирьян Иваныч, до конца не веря красноречию Фильки; вдруг обернулся к Васе-Коню: – А ты чего рассказывать станешь? Так было или не так?

Вася-Конь, занятый своими мыслями и даже не слушая, о чем разговор ведется, кивнул головой и глухо уронил:

– Так.

И настолько это, в отличие от Филькиной скороговорки, прозвучало серьезно и основательно, что Кирьян Иваныч поверил, отступился от своего кучера и отпустил его с миром.

Филька, счастливый, проворно выпряг Орлика, обиходил его после дурной скачки и сразу же завалился спать, успев лишь осторожно ополоснуть колодезной водой разбитую рожу. Вася-Конь слушал его залиvistое посвистывание, ворочался на топчане, не смыкая глаз, и не было у него никаких мыслей, никаких чувств, будто напрочь оглушили парня и осталась после удара только тупая, давящая боль в висках.

Солнце поднималось к полудню, когда услышал Вася-Конь во дворе бабий истошный крик – так обычно кричат на пожарах или при смертоубийствах, когда свершившееся несчастье уже ничем поправить нельзя. Крик не прерывался, он только набирал силу и скатывался на визг. Даже Филька встрепенулся и ошалело вскинул с подушки лохматую голову:

– Кого там режут?!

Вдвоем они вышли из флигеля и увидели, что орет посреди двора растрепанная баба, а к ней спешит, по-птичьи прискакивая, Кирьян Иваныч, за ним, запинаясь носками сапог за траву, – Багаров, а в раскрытую настежь калитку вбегают еще какие-то люди, размахивая руками, и все что-то говорят, говорят... И скоро из этого общего и неясного говора четко прорезались два слова:

– Война... Германия...

Вася-Конь даже вздрогнул, услышав эти слова. Тупая боль, давящая в висках, испарилась бесследно, на душе стало спокойно и холодно – теперь он знал, что ему делать. И поэтому больше уже не слушал, что говорили сбежавшиеся на двор люди, не вникал в их разговоры и заполосные крики; стоял и отстраненно думал о том, что в пролетке остались портянки, совсем новые, добротные портянки – надо пойти их забрать и обуться, как следует.

Он пошел, отыскал в пролетке портянки, переобулся и, притопывая подошвами сапог по земле, ощутил в себе прежнюю силу.

В тот же день Багаров спешно засобирався домой, приказав Васе-Коню, чтобы и тот складывал свои нехитрые пожитки.

– Да мне собраться недолго, Прокоп Савельич, видишь – уже и подпоясался. Только не поеду я никуда – на войну пойду.

– Кака война, кака война, пятнай тя мухи! – осерчал и запричитал тонким своим голосом Багаров. – У нас там хозяйство без догляда, а он – война! Без нас обойдутся! Шутки, что ли – Расея! Навалятся и прихлопнут немчуру, как муху! Собирайся, Василей, не клади мне обиды на сердце.

– Нет, Прокоп Савельич, я слово сказал и жевать его не буду. Не обессудь. Лучше пособи мне, подскажи – куда пойти, чтобы желание свое объявить.

– А куда хошь ступай, пятнай тя мухи! – ругнулся Багаров, но тут же окоротил себя и снова стал упрасивать: – Сам посуди, Василей, там убить могут, щелкнут из винтовочки – и полетит твоя душенька на небеси!

– Пускай летит, если судьба у меня такая. Судьбу, Прокоп Савельич, как говорится, и на кобыле не переедешь. Не уговаривай – чего зря время терять!

Багаров сдался. Правда, надулся, как сушеный бычий пузырь, и молча ушел в дом. Там, видно, обо всем рассказал Кирьяну Иванычу, и тот, явившись во флигель, пьяненький, облобызал Васю-Коня, будто на Пасху, высморкался в большой клетчатый платок и заявил:

– Люблю тебя, парень! Вот как люблю – до самой печенки! Вот он, русский человек! Будь я помоложе – вместе пошли бы! Эх, годики мои, куда вы раскатились! Я тебе своего Орлика подарю! А что касемо устройства в войско – завтра же изладим!

Завтра не получилось, потому как пришлось провожать на вокзал Багарова, который сменил гнев на милость и простился с Васей-Конем душевно. На проводах, как водится, выпили, и Кирьян Иваныч перенес исполнение своего обещания на следующий день. В этот раз слова своего не нарушил и устроил все наилучшим образом: разыскал знакомого штабс-капитана, который иногда кредитовался у него после неудачной игры в карты, и начал рассказывать ему о желании Васи-Коня послужить в русском войске. Штабс-капитан был озабочен, торопился и, не дослушав Кирьяна Иваныча, беглым, но цепким взглядом скользнул по ладной фигуре Васи-Коня и отрывисто спросил:

– Табунщик, говоришь? А рожа конокрадская. Ладно, ладно... Я записку черкну; ступай в казармы, спросишь подполковника Григорова – ему как раз такие ухорезы требуются.

И не стало больше Васи-Коня, а был теперь рядовой конной разведки Василий Иванович Конев, двадцати трех лет от роду, вероисповедания православного, телосложения правильного, как написали о нем в казенной бумаге.

5

Над черной землей, недавно освободившейся от снега и уже опушенной, как цыплячьим пухом, первой зеленой травкой, пластами ходил густой молочный туман, настолько плотный, что даже станционные фонари едва-едва пробивались сквозь него тусклыми желтыми пятнами. Было тепло и влажно. По стеклу вагонного окна медленно скатывались редкие капли, оставляя за собой извилистые следы. Поезд шел на запад и уже миновал Смоленск, когда поздно ночью его остановили на какой-то станции, название которой из-за тумана невозможно было прочитывать, и мимо, обгоняя его, один за другим стали проноситься тяжело груженные эшелоны – их фронт требовал в первую очередь.

Тоня, стараясь не разбудить своих попутчиц, сестер милосердия, ехавших вместе с ней, тихонько вышла из купе и осторожно прикрыла за собой дверь. Ей не спалось, мучила неясная тревога и неизвестность, ожидавшая впереди, ведь поезд должен был доставить ее не в гости, а на войну. Хватит ли сил все вынести, что в скором времени выпадет на ее долю? Она задавала себе этот вопрос, страшилась на него отвечать и никак не могла заснуть, снова и снова перебирая в памяти события последнего времени: скорое, совершенно неожиданное для нее замужество, которое ничего, кроме горького разочарования, не принесло, начало войны, курсы сестер милосердия, работа в госпитале, и вот теперь – уже близкий фронт. Все совершалось так стремительно, что не было даже возможности задуматься, как-то оценить течение жизни, словно несло на крутой волне, когда человек только об одном и помышляет – лишь бы удержаться на плаву...

– Антонина Сергеевна! Голубушка! Какими судьбами, какими ветрами?! Вот так встреча!

Задумавшись и глядя в темное окно, затянутое туманом, Тоня даже и не заметила, как подошел к ней офицер в погонах штабс-капитана. Лицо его было знакомым, но вспомнить, кто это, она никак не могла. А штабс-капитан, встряхивая кудрявой головой, на которой густой русый волос был уже крепко пробит сединой, не замечая легкого замешательства, несказанно радовался и, вздергивая вверх правую руку, словно хотел отдать честь, восклицал громким и приятным голосом:

– Я часто вас вспоминаю, Антонина Сергеевна, честное слово – вспоминаю! Помните, как вы нам пели: «Не уходи, побудь со мною...» Помните? А рука у меня – вот... Работает, как новая!

И он, подтверждая свои слова, взмахивал и взмахивал правой рукой, показывая, что делает это без всяких усилий.

Тоня вспомнила: штабс-капитан Агеев, Александр Александрович. Только раньше она привыкла видеть его в госпитальном халате и с перевязанной рукой, которую он постоянно баюкал, словно маленького ребенка, и морщился, даже во сне, от боли. У него была осколочная рана, чуть повыше локтевого сгиба, поврежденный нерв мучил постоянными болями, и Агеев где-то раздобыл семиструнную гитару, из соседней палаты привел вольноопределяющегося, бывшего музыканта, и вечерами упрашивал Тоню спеть какой-нибудь романс, убедительно доказывая, что, когда она поет, рука у него совершенно не болит. Отказать ему было невозможно, и Тоня пела, чувствуя, как у нее самой теплее становится на душе...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.